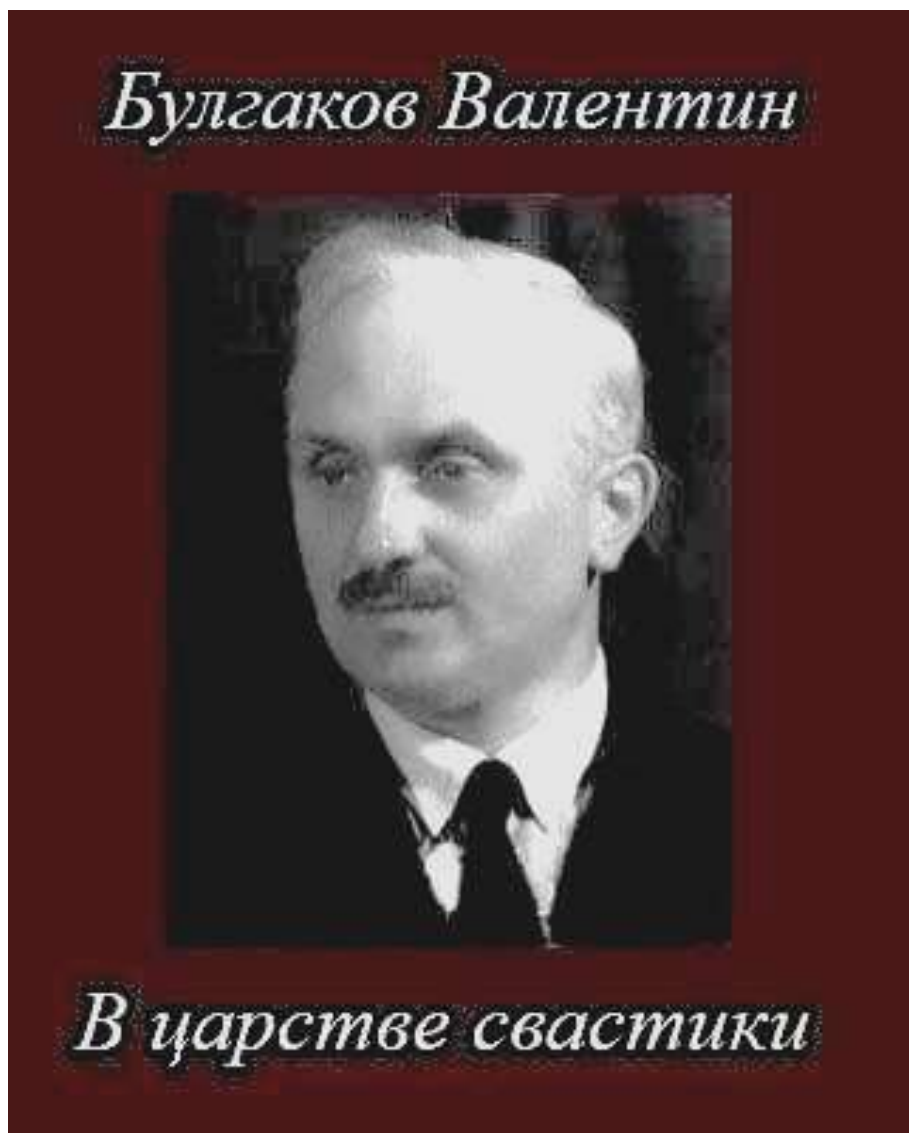


Валентин Булгаков

В царстве свастики



По тюрьмам и лагерям

Валентин Федорович Булгаков родился 13 (25) ноября 1886 года в городе Кузнецке Томской губернии. С 1906 по 1910 год учился в Московском университете на историко-филологическом факультете.

В 1907 году познакомился с Л. Н. Толстым, с февраля 1910 года по рекомендации В. В. Черткова стал личным секретарем писателя. Написал книгу "Л. Н. Толстой в последний год его жизни". С 1916 по 1923 год работал директором музея Толстого в Москве. С 1923 по 1948 год находился в эмиграции в Праге. Основал русский музей. С 1948 года хранитель дома-музея Толстого в Ясной Поляне. Скончался 22 сентября 1966 года.

Глава I

Под вечер 14 марта 1939 года, в холодный и серенький денек, приехал я в Збраслав, чтобы переночевать в замке и с утра поработать в Русском музее. Переходя по железному мосту по дороге от вокзала в город, встретил чешскую девушку Верочку Маркову. В первые годы нашей жизни в Збраславе по приезде из СССР мы квартировали в доме ее родителей.

Улыбнувшись девушке, спрашиваю, как она поживает.

-- Ах, господин Булгаков, плохо!

-- Почему же?

-- Да потому, что нас забирают немцы!

-- Как забирают? Кого "вас"?

-- Нас, республику. Говорят, они уже в Бероуне.

-- Немцы в Бероуне?! И вы верите этому?

-- Да как же не верить? Все говорят об этом!

-- Кто "все"?! Ах, Верочка, Чехословацкая республика -- независимое государство, и немцы не могут так просто перейти через его границы и оказаться вдруг в Бероуне, за каких-нибудь пятьдесят километров от Праги!.. Зря болтают люди...

-- Вы думаете, господин Булгаков?

-- Конечно! Вы едете в Прагу? Поезжайте себе спокойно. Немцев вы не встретите.

Мы распрощались. Подойдя к замку, я открыл своим ключом входную дверь и, никого больше не встретив, прошел в Русский музей, с отрадой обошел все его комнаты, сделал намеченную на вечер работу, потом напился чаю и лег спать. На другой день посетителей в музее не ожидалось, и я, поднявшись наутро, уже в двенадцатом часу отправился домой.

На пражском вокзале неожиданно узнал, что тот номер трамвая, которым я обычно пользовался, не ходит, потому что путь его в центре города пересекается вступающими в город немецкими войсками.

Добравшись сквозь пургу до площади Вацлава и улицы Пршикопы, заполненных народом, я увидел заснеженные серые немецкие танки, автомобильные платформы и мотоциклетки, мчавшиеся непрерывной чередой по направлению к берегу Влтавы и Национальному театру.

Богатая и сильная средневропейская республика рушилась. Накануне оккупации Праги, 14 марта 1939 года, отделилась и объявила себя самостоятельным государством Словакия, где взяла верх партия католических священников-националистов Тисо и Андрея Глинки. Объявила себя "самостоятельной" также примыкавшая к Чехословакии с востока Карпатская Украина (бывшая Подкарпатская Русь), вернее, та половина ее, которая не отошла в предшествовавшем году к Венгрии. Это разделение Чехословакии, конечно, входило в политический и стратегический план фашистского правительства Германии.

Гитлер не собирался, впрочем, оставить в покое и республику Чешскую: 16 марта 1939 года она превращена была в германский протекторат Богемия и Моравия. Судеты с их немецким населением, стремившимся "домой", "heim ins Reich", также отошли к Германии.

О президенте Гахе, маленьком, болезненном старичке, говорили, что, будучи вызван в Берлин и разговаривая с Гитлером, он впал в полное изнеможение, с ним случился обморок и его едва живого привезли в Прагу. Гитлер бесцеремонно кричал на маленького, слабого президента. "Вручая" немецкому фашизму республику, Гаха хотел спасти Прагу от разрушения с воздуха, которым угрожали немцы.

Немцы постепенно захватили в свои руки всю Прагу. В городе размещен был многочисленный немецкий гарнизон. Управление по всем ведомствам перешло в руки немецких служащих. Если и сохранились чешские руководители во главе учреждений, то они выбирались из представителей германофильских кругов. В огромном и роскошном здании бывшего банка, принадлежавшем чешскому архимиллионеру Печеку, расположилось гестапо, то есть тайная государственная полиция. Там были сосредоточены ее оперативное и следственное отделения. Арестованные содержались в тюрьме гестапо на Панкраце. Это была старая чешская тюрьма, расположенная в огромном четырехэтажном здании. Теперь она целиком была предоставлена новой властью в распоряжение немецкой политической полиции. Благодаря чрезвычайно распространенному шпионажу в гестапо попадали все новые и новые жертвы, так что тюрьма на Панкраце никогда не пустовала. В этот период мы проживали на Сезимовой улице, идущей от Врщовицкой ратуши вниз, к площади Ригера. Это как раз путь, ведущий от въезда в город с юга и от тюрьмы на Панкраце в центр Праги, а следовательно, и ко дворцу Печека. И мы могли постоянно видеть из окон, как "черный ворон", глухой автомобиль-фургон, употреблявшийся для перевозки политических "преступников", пробегал то по улице вниз -- ко дворцу Печека, то снизу вверх -- к тюрьме на Панкраце.

В нескольких шагах от нашей квартиры, посреди площади Ригера, был расположен рынок. Если у того или другого ларька собиралось слишком много покупателей, то сейчас же выстраивалось две очереди: одна -- немецкая, другая -- чешская, причем сначала товар отпускался немцам и лишь потом чехам.

Гитлер приказал своим войскам относиться к чехам не как к гражданам завоеванной страны. Но унижений для чехов и в местах общественного пользования, и в учреждениях, и в школе хватало. Чех сразу стал гражданином второго сорта. По всей стране уничтожались памятники президенту Чехословацкой республики Т. Г. Масарику. Бронза конфисковывалась на нужды войны.

Материальные ресурсы страны -- железо, уголь, дерево, хлеб -- обращались прежде всего на военные цели.

В положении русских в Праге -- и эмигрантов, и советских граждан - - не произошло в первые два года оккупации страны немцами никаких или почти никаких изменений. Что касается, в частности, советских граждан, то немцев стесняло, по-видимому, наличие советско-немецкого договора о ненападении. Разумеется, все эмигрантские учреждения, в том числе гимназия и Русский свободный университет, сразу поставлены были под немецкий контроль. Ректором университета оставался по-прежнему энергичный М. М. Новиков, но каждое свое решение он должен был согласовывать с официально назначенным немцами уполномоченным по культурной работе среди русских, помощником ректора профессором В. С. Ильиным, человеком крайне консервативных взглядов и настроений, врагом "большевизма". Верховный надзор над русским школьным делом и культурным строительством получил член фашистской партии профессор немецкого университета в Праге доктор Гамперль.

Перевод работы на новые рельсы начался с выступления прибывшего из Берлина русского фашиствующего генерала Бискупского перед собранием руководящих деятелей всех русских эмигрантских организаций. Бискупский, муж давно покойной цыганской певицы Вяльцевой, георгиевский кавалер, чрезвычайно надутый и довольный собою толстяк, учил русских эсеров, кадетов, октябристов и черносотенцев во всем довериться руководству немецкого управления по делам русских беженцев, отказаться от занятий политикой и посвятить себя чтению Евангелия и молитве.

-- Ишь ты какой! -- говорил, прослушав Бискупского, философ профессор Николай Онуфриевич Лосский, человек праволиберальных

воззрений, -- сам-то забрал себе все возможности политической деятельности, а нам предлагает изучение Евангелия!..

Управление по делам русских беженцев начало действовать. Оно взяло на себя функции чего-то вроде русского консульства: регистрировало всех беженцев, выдавало им особые удостоверения и прочее. Может быть, выискивало и добровольцев для будущей и, без сомнения, уже намечавшейся Гитлером войны с СССР.

Русская "черная сотня" подняла голову в родительском комитете русской гимназии, где училась моя младшая дочь Оля. На общих родительских собраниях, созываемых комитетом, происходили жаркие перепалки между сторонниками немецкого и независимого русского курсов ведения дел и воспитания молодежи.

Во главе гимназии поставлены были два директора: русский и немец. Фамилию немца забыл, а русским директором назначен был известный "евразиец" и историк доцент П. Н. Савицкий. Директор-немец играл роль контролера над всеми действиями и распоряжениями русского директора.

Русский культурно-исторический музей действовал в общем-то на старых основаниях. Руководство музеем оставалось в моих руках. Профессор Гамперль посетил однажды музей вместе с Ильиным, все осмотрел, но никаких замечаний не сделал и никаких особых требований не предъявил. По-прежнему приходили в музей по воскресеньям русские и чехи и осматривали его художественные и исторические коллекции.

Расскажу об одном инциденте, обратившем на меня особое внимание немецких наблюдательных органов.

По воскресеньям иногда приходил и помогал мне за скромную разовую плату представитель эмигрантской "молодежи" инженер Усов, сын генерала. Ему было уже лет 30--35. Он засиделся в "молодых". Что это значило? То, что, проживая на чужбине, Усов никак не мог устроить своего положения: постоянной работы не имел, не женился, не переставая боролся с крайней нуждой, голодал. Вместе с тем обладал приятными, культурными манерами. Вредила ему слабость к спиртному.

В обязанности Усова входила главным образом продажа билетов. Но изредка, в дни, когда было мало посетителей, он проводил ту или иную маленькую группу по музею в качестве добровольца-экскурсовода.

Иногда, в свободные минуты или за работой в канцелярии, завязывался между нами разговор, подчас переходивший и на политические темы. Обсуждалось положение Чехии после захвата ее немцами.

16 февраля 1941 года я получил по городской почте бумажку следующего содержания:

"Тайная государственная полиция.

Управление тайной полиции в Праге.

Прага 11, 14.02.1941.

Повестка

Настоящим предлагается вам явиться во вторник, 18.02.1941, между 9 и 2 часами в Управление государственной полиции в Праге (Бредова улица, 3-й этаж, комната 224), предъявив эту повестку.

Управление: 11 А.З. РІ".

Я был в полном недоумении: зачем призывает меня в гестапо это таинственное "Рi"? Однако, захватив свой советский паспорт, отправился 18 февраля к двум часам дня во дворец Печека, где помещалось гестапо.

Вхожу в подъезд колоссального гранитного здания. Низкий вестибюль. Пять-шесть каменных ступеней ведут на площадку, по которой расхаживает караульный -- молодой эсэсовец в шинели и с ружьем. Предъявляю повестку гестапо.

Эсэсовец показывает жестом вниз, налево от лестницы. Вижу узкую лестничку, уходящую в подвал. Там, в бывшей швейцарской, нахожу бюро пропусков. Мне выдается на клочке бумаги пропуск, я выхожу из бюро, показываю пропуск часовому, и он направляет меня направо, к лифту.

Лифт подымается на третий этаж. Передо мной направо и налево длинный коридор. Двери и двери, как в гостинице. Над дверями -- номера, все двухсотые. Рассчитываю, в какой стороне должен быть номер "224", и иду.

Вот и мой номер. Стучусь. Изнутри слышится: "Herein!"*

Вхожу. Небольшая светлая комната с низкими окнами. Письменный стол, за которым сидит худенький, бритый молодой человек с темным -- и по цвету кожи, и по выражению -- лицом и с черными, усталыми глазами. Налево, перед столиком с пишущей машинкой, восседает пожилая, полная дама довольно добродушного вида. (Потом она с тем же добродушным видом присутствовала при пытках, которым подвергнута была моя старшая дочь Таня.)

Здоровуюсь и снова подаю свое "Vorladung". Молодой человек указывает на стул сбоку от стола.

Начинаются формальные вопросы: об имени, возрасте, гражданстве, занятии и так далее.

Отвечаю.

-- Где вы научились говорить по-немецки?

-- Сначала в гимназии, потом -- во время своих лекционных поездок по Германии и Австрии.

-- О чем вы читали? Какие города посетили?

Отвечаю и на эти вопросы.

-- Каково ваше отношение к Германии?

-- Познакомившись поближе с Германией, я успел полюбить ее. Мне импонирует высокая культура Германии. Я постоянно восхищался прекрасной архитектурой, музеями, живописной природой.

Молчание.

-- Скажите, а как вы относитесь к современному национальному движению в Германии?

-- Я в политику не вхожу. Я понимаю в политике довольно мало. Кроме того, я иностранец и, как таковой, не имею права судить о политике другого государства, находясь на его территории.

-- Однако вы высказывались о политике национал-социализма?

-- Нет, не высказывался.

-- Высказывались. Припомните!..

Пожимаю плечами. Вспоминаю. Очевидно, что если мне что-то вменяется в вину, то тут имеется в виду какое-то публичное выступление, а между тем таковых не было.

Говорю, помолчав:

-- Никогда и нигде я не выступал публично против национал-социализма. Я не мальчик и не мог бы позволить себе, будучи иностранцем и находясь в германском протекторате, выступать публично с речами против правительственной германской политики.

-- Припомните лучше!

Молчание.

-- Не могу припомнить. Скажите, что вы имеете в виду. У вас, по-видимому, есть какой-то материал по этому поводу?

-- Да, есть. Но вы должны сознаться сами.

-- Мне не в чем сознаваться. Могу только предположить, что в вашем распоряжении имеется какой-то ложный донос.

-- А кем этот донос мог быть сделан?

-- Не знаю.

-- Постарайтесь сообразить!

-- Не знаю, -- сказал я. -- Недавно в моей жизни был случай, когда я обидел одного человека... одного служащего Русского музея, запретивши ему принимать чаевые... Может быть, человек этот, раздраженный моим отношением...

-- Как его имя? -- решительно спросил следователь.

-- Этого я не могу сказать!

-- Почему?

-- Потому что я могу ошибиться и незаслуженно скомпрометировать человека.

-- Но ведь, быть может, его имя значится у меня тут, в этих бумагах!
-- воскликнул немец, схватившись обеими руками за пачку лежавших перед ним бумаг и потрясая ею в воздухе.

-- Может быть. Но я все-таки не могу его назвать.

-- Это... -- следователь приостановился. -- Борис Усов?

Видя, что следователь действительно имеет в руках донос Усова, я ответил:

-- Да.

Следователь составил протокол, сделал условленную, каббалистическую, отметку на моем пропуске, и я, вручивши пропуск часовому в вестибюле, покинул зловещий, но пока еще не до конца раскрывшийся передо мной дворец Печека.

Рассказывая двум-трем ближайшим знакомым о случившемся, я получил от одного из них резонное указание:

-- Не воображайте, что этим кончились все ваши отношения с гестапо! Оно взяло вас на примету и теперь уже не выпустит из виду.

Я потом думал: следователь был как будто милостив ко мне. Но не выручил ли меня на этот раз не только угаданный донос, но и... мой советский паспорт? Кажется, что это было так. За советским гражданином стояло могущественное Советское государство, отношения Германии с которым пока были нормальными. Между ними существовал даже пакт о ненападении.

В Праге между тем среди русских начали поговаривать, что теперь немцы ринутся, наверное, на восток, против Советского Союза. Разговоры такого рода слышались и в канцелярии Русского свободного университета. Проректор В. С. Ильин, поводырь правых, рассказывал о встречах с немцами: все они, в том числе солдаты и офицеры, утверждали открыто, что готовятся к войне с Россией.

Глава II

Ночь на воскресенье 22 июня 1941 года я провел в збраславском замке, в музее, и на другой день утром приготовился к приему посетителей. Так как очередной мой помощник в этот день почему-то не мог прийти, то на замену ему явилась в девять часов утра моя жена.

-- Валя, война! -- были ее первые слова.

Она протянула мне специальный выпуск "Чешского слова", просмотрев который я узнал, что Гитлер рано утром двинул свои войска сплошным фронтом, от северных до южных границ, против Советского Союза. В его обращении к немецкому народу высказывалась уверенность в победе.

-- Ну, теперь мы пропали! -- горестно воскликнула Аня.

-- Почему?

-- Потому что мы -- советские граждане. Тебя, наверное, арестуют.

-- Да за что же меня арестовывать? Ведь я политической деятельностью не занимаюсь. Русский университет не откажется это подтвердить.

-- Увидим, -- уклончиво произнесла жена.

Воскресная публика уже повалила в музей, и оба мы взялись за работу: жена продавала билеты, а я объяснял вновь прибывающим, откуда следует начинать и в каком порядке продолжать осмотр музея. Попутно отвечал на разные вопросы посетителей.

Было около одиннадцати часов утра, когда я неожиданно увидел покинувшую кассу и шедшую ко мне жену с серьезным и грустным выражением лица.

-- Ну, Валя, приготовься! Приехали за тобой.

-- Как, уже? -- спросил я и в ту же минуту увидел высунувшуюся из-за плеча жены физиономию молоденького и тоненького, хлыщеватого немецкого офицера, за которым следовали сержант и гражданин в штатском (оказавшийся чешским переводчиком).

-- Guten Tag, -- сказал офицер.

-- Guten Tag, -- ответил я.

-- Вы господин Булгаков?

-- Да. Что, мне следует собираться и ехать с вами?

Офицер как будто немного сконфузился.

-- Нет... Зачем же так... сразу?.. Я хотел бы побеседовать с вами. Вы расскажете мне о музее.

-- Тогда пожалуйста в мою комнату!

Мы вошли в мой маленький кабинетик, и я, отвечая на вопросы офицера, которого, как и сержанта и переводчика, пригласил присесть, рассказал о Русском музее, о том, как он образовался, кому принадлежал, какие цели преследовал, на какие средства существовал и т. д.

-- Значит, музей -- это плод бескорыстного национального воодушевления, -- покачивая одной ногой, закинутой на другую, спросил офицер по окончании моего рассказа.

-- Да.

Гости как будто помягчели немного.

-- А вы могли бы показать нам музей?

-- Пожалуйста!

Мы обошли весь музей. Я дал немцам те объяснения, какие давал обычно всем посетителям музея.

Офицер поблагодарил.

-- Это очень интересно! -- сказал он. -- Но знаете, так как сейчас началась война, то вам, как советскому гражданину, придется все-таки несколько дней погостить у нас.

-- Где? В гестапо?

-- Да. На несколько дней мы вас приглашаем.

-- Что же, значит, я должен ехать с вами сейчас?

-- Да. Вы можете проститься с женой, -- сказал он.

Я расцеловался с женой, передал с нею свои благословения детям. Аня, как это и можно было ожидать от нее, была мужественна, серьезна.

-- Я готов, -- повторил я снова.

-- Идемте! -- ответил офицер.

У подъезда офицер неожиданно обратился ко мне с вопросом, имеются ли в Збраславе рестораны, где можно было бы пообедать.

-- Да, конечно, -- ответил я. -- Вот хотя бы ресторан "При замке". Это в двух шагах отсюда. Только пересечь двор.

-- Отлично!

Немцы, переводчик и я отправились в ресторан и там уселись за столик под открытым небом, в саду при ресторане.

Стояла чудная солнечная погода.

Офицер заказал сосиски и пиво и, когда они были поданы, предложил их и мне. Я отказался. Было не до еды, и уж очень зазорным казалось угощаться за счет гестапо.

Затем немцы вышли на городскую площадь, к которой примыкали владения замка, и уселись в ожидавшуюся там машину. Сержант сел рядом с шофером, меня посадили на один из средних стульев, а офицер с переводчиком поместились на заднем диване. Машина полетела в Прагу.

В кабине царствовало полное молчание. И только уже при въезде в город, на Смихове, когда я увидел на улице стройную колонну юношей, почти подростков, одетых в черное, и невольно воскликнул: "Что это за войска?" -- офицер из-за моей спины ответил: "Итальянцы!".

Дворец Печека.

Офицер и сержант, потерявшие прежнюю любезность по отношению ко мне, ведут меня в знакомый уже мне подвальчик налево от главной лестницы, то есть в контору или бюро для регистрации. Затем офицер, не простившись со мной, исчезает, и при мне остается только сержант.

Начинается опрос: имя, фамилия, гражданство, профессия и т. д.

-- Идем! -- говорит сержант.

"Куда? В комнату, где я буду "гостить"? Может быть, здесь же, в подвале?" -- думаю я.

Ничего подобного. Сержант выводит меня из здания, сажает снова в машину, ожидавшуюся у подъезда, и командует шоферу:

-- На Панкрац!

"На Панкрац? Так, значит, "гостить" я буду в тюрьме?! Но может быть, в какой-нибудь особой комнате, не в обычной же арестантской камере?"

Я поражаюсь теперь сам: до чего я был тогда наивен! Простодушно поверил арестовавшему меня офицеру, что я должен "несколько дней погостить" у них!..

Вот контора тюрьмы. Меня опрашивают, все записывают, потом отбирают у меня бумажник, часы и все мелочи, случайно оказавшиеся в карманах, отбирают воротничок, галстук, ремешок для подвязывания брюк и ведут... не в "комнату для гостей", а в самую что ни на есть настоящую камеру.

Меня сдают на руки тюремному надзирателю. Коренастый, пожилой, черноусый надзиратель, идя впереди, звенит связкой ключей и поднимается на второй этаж, потом на третий.

Вдоль стен идут в три ряда, один над другим, открытые, отгороженные только железными перилами длинные галереи с железным полом. Внизу, на высоте второго этажа, натянута железная сетка, чтобы арестанты, бросившиеся в припадке отчаяния вниз с третьего или четвертого этажа, не могли убиться.

Около одной из железных дверей, во множестве расположенных по галереям и ведущих в камеры, надзиратель останавливается. К нему подходит другой, дежурный. Арестант передан ему.

-- Ты русский? -- спрашивает меня дежурный надзиратель.

-- Русский.

-- Большевик?

-- Нет.

-- За что же тебя посадили?

-- Не знаю.

-- Не знаешь? Ха-ха!.. Ну ладно, иди в камеру.

С грохотом открывается дверь в небольшую, с одним зарешеченным окном, выбеленную известкой камеру и снова захлопывается за мной. Окно находится высоко над полом и снизу на три четверти забрано досками так, чтобы из него нельзя было выглядывать.

В камере меня по-товарищески встречают двое молодых людей, чехов: один -- бледный, хмурый, с энергичным лицом и повыше ростом, другой -- пониже, черненький, румяный и более добродушный на вид.

Начинается знакомство. Рассказываю о себе. Молодые люди рекомендуются фабричными рабочими, арестованными по обвинению в революционной, противофашистской деятельности.

Я спрашиваю о режиме в тюрьме. Режим, по их словам, очень жесткий. Кормят впроголодь. Пищу дают трижды в день: утром -- кружку кофейного суррогата и кусок черного хлеба на день, в обед -- тарелку капустного или картофельного супа и пшенную кашу, чешский кнедик или картофель в мундирах, вечером -- кружку жидкого чая. Иногда в супе попадаетея мясо, на второе вдруг принесут свежий салат, но чем вкуснее то или иное блюдо, тем в меньшем количестве оно подается. Наедаться досыта вообще никогда не приходилось. На прогулку выводят не больше чем на четверть часа, заставляя при этом ослабленных голодом людей заниматься под команду гимнастикой.

Обращение, конечно, на "ты" -- с рабочими, офицерами, депутатами, профессорами -- все равно. Ни книг, ни перьев, ни бумаги не дают и ни в каком случае не разрешают иметь.

Никаких свиданий с родными или знакомыми не полагается. Писем тоже ни получать, ни писать нельзя. Единственное, что разрешается, -- это получать из дому в две недели раз чистое белье, возвращая для мытья грязное.

При первом звуке открываемого замка в двери все арестованные обязаны вскакивать, выстраиваться гуськом (один за другим), а как только дверь откроется, стоящий впереди товарищ должен, кто бы ни вошел, громко, по-солдатски (притом на немецком языке, конечно), рапортовать:

-- В камере номер триста девять все обстоит благополучно!

Если этот рапорт звучит не достаточно громко, следует сторожайший приказ повторить его "как следует".

У нас рапортовал обычно Крэч, и делал это "отлично", не жалея голосовых связок. Надзирателям эти громоподобные рапорты доставляли, по-видимому, истинное наслаждение.

Надо было уметь также выскочить одним прыжком из притворенной двери камеры на наружную галерею и вместе с арестованными из других камер тотчас вытянуться "во фронт", когда раздавалась команда выходить на прогулку. Замедливший рисковал получить не только грозный окрик, но и оплеуху. Когда все арестанты или некоторая их часть опаздывали на одну-две секунды выскочить из камер, вся церемония выскакивания повторялась снова.

Ходили во дворе по двум большим концентрическим кругам на расстоянии четырех-пяти шагов друг от друга. Через две-три минуты по команде останавливались и по команде же делали гимнастику.

Спали заключенные на соломенных тюфяках на полу. Подымались утром в темноте, ложились вечером засветло. Воду для питья брали, потянувши проволоку, из того же отверстия, из которого наполнялся и очищался унитаз. Над унитазом также мылись по утрам.

Раз в две недели ходили в баню в подвальном этаже тюрьмы. В большую комнату с пятнадцатью душами впускалось сразу человек 50--60 заключенных, которые должны были в течение пяти минут вымыться, перехватывая друг у друга струю воды. Надзиратель, стоя в стороне одетым и в фуражке, наблюдал эту картину, грозно окрикая, а иногда и награждая пощечинами тех, кто пытался перешепнуться с соседом.

Курить строго запрещалось. Найденные при обыске спички, окурки вменялись в преступление.

Просунуть что-нибудь в "волчок" (или "глазок") было нельзя: отверстие "волчка" перекрыто было стеклом.

В камере заключенным в течение целого дня оставалось забавляться только шашками: шахматная доска была намечена гвоздиком на некрашеной крышке столика, шашки склеены из хлебного мякиша.

Перестукиваться с соседними камерами было невозможно: из коридора подслушивали и наказывали -- били по физиономии или заставляли делать по пятьдесят приседаний.

Надзиратели следили за арестантами и ночью, время от времени заглядывая в "волчки". Арестанты обязаны были, между прочим, держать руки поверх одеяла. Застигнутые с руками под одеялом осыпались грубой бранью, а то и избивались вошедшим в камеру надзирателем.

Подкрадывались надзиратели к камерам неслышно и незаметно, потому что и днем, и ночью расхаживали по коридорам в мягких туфлях. Всю ночь камеры освещались яркими электрическими лампочками.

На допросы арестованных совсем не вызывали или вызывали очень редко, раз в несколько месяцев.

Начальник тюрьмы камер совсем не посещал и никаких претензий не принимал. Но иногда обходил коридоры тюрьмы, тоже в мягких туфлях, с большим псом, изредка заглядывая в "волчки". В подвальном этаже, кроме бани, расположены были карцеры.

Я рассчитывал освободиться через "несколько дней", но ведь и эти несколько дней надо было провести "по-арестантски", согласно правилам, выработанным гестапо.

К обеду в день ареста я опоздал, но на другой или на третий день был поставлен перед тяжелым испытанием, как вегетарианец. Будучи уже более тридцати лет вегетарианцем, я сначала тщательно вылавливал из супа мясные кусочки и отдавал их, как и мясной кнедик, товарищам по заключению, которые с удовольствием их уничтожали. Но потом, через неделю или через две, я почувствовал, что если буду так поступать и впредь, то просто не выдержу и помру с голоду: так мало давали нам пищи!

И вот я начал учиться есть мясо. Сначала это шло нелегко. Потом понемногу я стал привыкать и... к сожалению, "научился" снова поглощать убоину.

Выйдя однажды на прогулку, я увидел среди соседей своих по камере знакомого русского -- эмигранта Сергея Семеновича Маслова, публициста и политического деятеля, редактора журнала "Крестьянская Россия". Его расценили как деятеля национального и потому фашизму враждебного.

13 сентября вызвали меня, еще до "кофе", на коридор: бриться! Дело известное, ранний вызов на бритье означал, что в этот день повезут меня на допрос в "Пэчкув палац". Вся наша камера взволновалась: после двух с половиной месяцев сидения -- первый допрос!

В десятом часу, побритый, снова обысканный, летел я в "черном вороне" с десятком других арестантов по улицам Праги на Бредову улицу, ко дворцу Печека. Свет в автобус проникал только через небольшое квадратное оконце, сделанное в передней двери. Боже, какой прекрасной казалась мне из этого маленького оконца Прага! Какими счастливыми -- ее не попавшие еще на Панкрац обитатели!..

Проехали мы, сверху вниз, и по Сезимовой улице, где в доме No 13 находилась наша квартира. Я успел разглядеть и подъезд, и немые два окна, занавешенные шторками. Может быть, в этот миг за окнами находились жена и дочери, не знавшие, что я проношусь мимо них в глухом, закрытом тюремном автобусе!..

Кто были люди, сидевшие со мной в машине? Конечно, это были чехи, наверное -- социалисты или коммунисты. Большинство ехало в тяжелом молчании.

Станным образом в нашей компании оказался один не первой молодости француз с нездоровым, пухлым лицом. Он откровенно, обращаясь ко всем вместе и ни к кому в особенности, заявил, что обвиняется в шпионаже, и все добивался, чтобы ему разъяснили, казнят за шпионаж или нет... Что можно было сказать несчастному!..

Дворец Печека. Автобус въезжает в глухой, закрытый и с боков, и сверху темный двор, и только здесь, а не на улице, на глазах у прохожих, начинается его разгрузка. Всех приехавших ведут под конвоем в комнату ожидания, помещающуюся в первом, полуподвальном этаже здания и известную всем "клиентам" гестапо под названием "кинематограф".

Это продолговатый зал, уставленный правильными рядами скамей, обращенных к "экрану", или, просто сказать, к одной из глухих узких белых стен. Ожидающие вызова на допрос заключенные сидят на скамьях, упираясь взором в стену. А против всего этого "собрания" у стены стоит эсэсовец в черной форме, с заряженной винтовкой в руках. Он следит за порядком. В чем состоит порядок? Во-первых, сидеть нужно ровно, прямо, а не развалившись. Во-вторых, руки нужно держать на коленях, с вытянутыми ладонями. В-третьих, строго запрещается оглядываться назад или поворачивать голову направо и налево. И наконец, в-четвертых, наистрожайше запрещается шептаться. (Оно и трудно, потому что усаживают заключенных на скамьях не рядом, с интервалами метра в полтора.)

Наперед о "правилах" не говорят, но за нарушение их, вольное или невольное, виновные тут же наказываются: или грубым окриком, или приказом встать и стоять, или битьем, или, наконец, требованием сделать 20, 30, 40 приседаний. Сидят поэтому ровно, тихо и молча. А так как ожидание продолжается иногда несколько часов или даже весь день, как это, например, случилось со мной, то ожидающие от своего напряженного положения очень устают.

Время от времени из внутренних комнат гестапо появляется новый эсэсовец, который вызывает того или иного заключенного и уводит его на допрос.

Любопытно, что хотя над ожидающими издеваются, но их все-таки кормят. В обеденный час приносится на подносе несколько мисок с пищей: супом, макаронами или кашей -- и раздается ожидающим, которые должны есть, не покидая своих мест. По опустошении чашка скромно ставится тут же, на свободное место на скамье, руки опять кладутся в вытянутом положении на колени, стан выпрямляется, глаза упираются в "экран", и ожидание продолжается.

Недаром гестаповская ожидальня получила наименование "кинематограф". Разглядывая в течение двух, трех, четырех, шести, восьми часов находящуюся перед глазами пустую белую стену, бедные ожидальцы, наверное, заполняли ее в своем воображении самыми разнообразными -- то страшными, то трогательными -- картинами,

вспоминая о прошлом и размышляя о будущем, так что этого "экрана" те, кто побывал здесь, уже никогда не забудут.

Я просидел весь день и никуда не был вызван. В шесть часов вечера меня и еще трех-четырех напрасно ожидавших вызова на допрос товарищей подняли, усадили на темном дворике в "черный ворон" и доставили обратно, без единого словечка каких-либо объяснений, на Панкрац.

На другой день меня снова отвезли во дворец Печека, где я скоро был вызван к уже знакомому мне молодому следователю в комнату No 224. Никакого допроса не последовало. Следователь просто сообщил мне, что я освобождаюсь, но только, в качестве советского гражданина, должен держать себя в высшей степени осмотрительно, чтобы не вызвать нового ареста. Продолжать оставаться директором Русского культурно-исторического музея уже не могу и должен немедленно сдать свои обязанности кому-нибудь другому.

-- Кого вы могли бы назвать в качестве вашего преемника?

Я назвал профессора Брандта.

-- Отлично. Стало быть, немедленно по освобождении сдайте все дела музея профессору Брандту, -- заявил следователь. -- Кроме того, вы обязуетесь не покидать Праги и еженедельно, по субботам, являться в тайную государственную полицию, сюда, ко мне в кабинет. Понятно?

Итак, "несколько дней", на которые я был приглашен "погостить" в гестапо, растянулись для меня почти в три месяца. И растянулись бы в еще более долгий срок, если бы не хлопоты, предпринятые в мою пользу профессорами Русского свободного университета.

15 сентября 1941 года я был выпущен из тюрьмы.

Маслова выпустили несколько позже меня. Потом он снова был арестован, отправлен в Терезинский концентрационный лагерь и дождался освобождения Чехословакии советскими войсками весной 1945 года.

Глава III

Выйдя из тюрьмы, я работал еще некоторое время в Русском музее. Исполняющим обязанности директора числился профессор В. А. Брандт.

Однако через полтора-два месяца назначен был -- конечно, по договоренности с немецкими органами просвещения -- новый директор, именно один из членов музейной комиссии Русского свободного университета художник Ник. Вас. Зарецкий. 65-летний старик, бывший офицер, ученик Ционглинского и Кордовского и довольно талантливый

иллюстратор "Арапа Петра Великого", "Гробовщика" и "Домика в Коломне" Пушкина.

В последний раз, со слезами простившись с музеем, которому отдано было восемь лет моей жизни, я в ноябре 1941 года сдал музей Зарецкому. Он произвел ряд изменений в экспозиции, поместил картины Рериха в полутемном зале, развесил в одной из комнат вырезанные из картона значки старой русской армии, наполнил библиотеку фашистской литературой.

27 мая 1942 года среди бела дня был убит германский протектор в Праге Гейдрих, главный организатор гестапо. Двое или трое молодых чехов подкараулили машину Гейдриха и бросили под нее бомбу. Тяжело раненный, Гейдрих оказался распростертым на земле. Члены его охраны, ехавшие в другой машине, кинулись на помощь к протектору и тем самым предоставили бросившим бомбу возможность скрыться. Протектор скоро умер.

Начались розыски убийц. Брошенный велосипед, части одежды и другие вещи выставлены были за зеркальным стеклом в обувном магазине "Батя" в надежде, что кто-нибудь распознает эти вещи и тем поможет делу установления убийц Гейдриха.

Обещана была огромная сумма денег в награду тому, кто откроет убийц протектора. Мало того, начались поголовные обыски в городе. Чешская и немецкая полиция обходила подряд одну квартиру за другой и выискивала всех непрописанных, надеясь таким образом выявить скрывшихся убийц Гейдриха. При этом объявлено было, что все, чьи документы окажутся не в порядке, подлежат смертной казни.

Настали страшные дни. Покупая ежедневно вечернюю газету, мы читали в ней длинные списки казненных: писателей, профессоров, служащих, рабочих. В каждом номере значилось от 25 до 40--50 лиц, причем часто фигурировали целые семьи: отец, мать и дети, хотя бы последним было по семь или восемь лет. Развертывая дрожащими руками газету, каждый чех или чешка боялись встретить в списке казненных имена и фамилии своих ближайших родственников и друзей.

Прошло уже несколько недель со дня этого убийства. Однажды днем дочь Таня, только что перенесшая операцию аппендицита и находившаяся на излечении в так называемой Всеобщей больнице на Карловой площади, услышала ожесточенную канонаду. Больные встревожились. Предположениям и догадкам не было конца. Чешки, соседки Тани по кровати, готовы были допустить, что в Прагу ворвались советские войска.

Оказалось другое. Найдены были убийцы Гейдриха. Где же? В подвале церкви святого Карла Барромейского, на Рессловой улице, недалеко от соединения ее с площадью Карла: любовница одного из убийц, соблазнившись высокой суммой, объявленной за содействие в их поимке, открыла немецким властям местопребывание молодых людей.

Тогда оцеплены были все окрестные улицы, собраны войска и церковь была подвергнута обстрелу, оказавшемуся, впрочем, бесполезным. Молодые люди забаррикадировались в подвале, сложенном из мощных камней, и только одно маленькое окошечко, выходявшее на Ресслову улицу, оставалось открытым. Через него-то и попытались немцы пристрелить укрывшихся, но те, прячась по углам подвала от выстрелов, оказались сами вооруженными и успешно через то же окошечко отстреливались.

Это продолжалось несколько дней. Наконец кто-то подал осаждающим мысль: затопить подвал водой. Когда вода стала подниматься выше человеческого роста, все осажденные (их было три или четыре человека) последними выстрелами покончили с собой. Фашистам достались только трупы.

Разумеется, арестованы были руководящие представители чешской православной церкви. Состоялся суд. Епископ Горазд, священник Петржик, староста церкви и другие лица были расстреляны. Вся церковная организация ликвидирована.

Хотя жизнь нашей семьи -- моя, жены и двух дочерей -- ограничивалась как будто узким семейным кругом и проходила в стороне от активной политики, новые удары судьбы, направляемой фашизмом, все же не миновали нас. Говорю на этот раз не только о себе, но и о старшей, 21-летней дочери Тане.

Энергичная, порывистая и увлекающаяся, Таня не ограничивалась скучной работой в канцелярии, но вступила также в один чешский якобы спортивный кружок.

23 марта 1943 года, вернувшись с одного из своих уроков русского языка домой и войдя в комнату, я обратил внимание на то, что книги и бумаги на моем столе разбросаны. Принадлежа до известной степени к породе ревнивцев, радеющих о неприкосновенности своих письменных столов, я обратился с вопросом к жене:

-- У нас кто-то был? Почему здесь все переложено?

Жена, быстро взглянув на меня, промолчала и, отвернувшись, вышла в другую комнату.

Естественно, мне это показалось странным.

Повторив через некоторое время свой вопрос, я узнал, к немалому своему удивлению, что в мое отсутствие в квартире были представители гестапо, произвели обыск, забрали часть моих бумаг и, наконец, арестовали дочь Таню.

-- За что?

-- Я спросила об этом, -- сказала жена. -- Руководитель обыска ответил: за связь с коммунистами. Кроме того, он упрекал ее за какие-то речи...

-- А Таня что же?

-- А Таня повторяла упрямо: "я говорила и всегда буду так говорить!.."

Затем я узнал, что и мне предписано было распорядителем обыска явиться через три дня, 27 марта, в гестапо, в комнату No 224.

-- Так это, наверное, был тот самый следователь, который уже допрашивал меня в комнате 224?

-- Да, он сказал, что он тебя знает.

-- Что же, он собирается опять посадить меня?

-- Не знаю. Не думаю. Может быть, он хочет допросить тебя в связи с арестом Тани?..

Три дня я провел в ожидании новой встречи со следователем из комнаты No 224. Я надеялся получить от него более подробные сведения о вине Тани. Гадал: действительно меня только допросят или опять арестуют? Смутные воспоминания о полузабытых уже картинах тюрьмы гестапо проносились в голове. Неужели их придется воскресить снова и отправиться вторично на Панкрац? "Но нет, -- говорил я себе, -- если бы нужно было меня арестовать, то это сделали бы немедленно, а между тем меня приглашают явиться только через три дня. Должно быть, это будет допрос о Тани".

...27 марта 1943 года отправился я во дворец Печека.

Заявивши в конторе гестапо, что я вызван в комнату No 224, получил, после телефонной справки дежурного по канцелярии, пропуск, поднялся на лифте на третий этаж и вошел в знакомую мне комнату, где нашел прежнего, смуглого и с усталыми глазами, молодого следователя и сидевшую за пишущей машинкой полную даму.

Как и можно было ожидать, разговор сразу зашел о Тани.

-- Вам известно о связи вашей дочери с коммунистами?

-- Нет, неизвестно.

-- Но эта связь установлена!

-- В чем же, собственно, обвиняется дочь? Что конкретно она сделала? Какой проступок ей вменяется в вину?

-- Ах, она говорила ужасные вещи!

-- Когда? На следствии?

-- Да, на следствии.

-- Что же она говорила?

-- Я не буду вам повторять, но вот и моя сотрудница, -- он указал на даму, -- может вам подтвердить, что ваша дочь говорила ужасные вещи!

-- Да, да, -- подтвердила дама, кивая головой, -- она говорила ужасные вещи!..

Как я узнал впоследствии, Таня при допросах открыто заявляла о том, что она желает победы Красной Армии и не сомневается в этой победе.

Далее следователь заявил, что моя дочь не может быть освобождена и будет выслана в Германию, в лагерь для интернированных советских граждан, на все время войны. Туда же высылаюсь вместе с дочерью и я.

-- Да вы не беспокойтесь, -- говорит следователь. -- Ведь вы едете не в концентрационный лагерь, а там совсем другой, гораздо более мягкий режим. У вас будут книги, вы сможете писать домой.

-- И мы будем там вместе с дочерью?

-- Конечно, -- отвечает следователь. -- И поедете вместе с ней.

Это меня до известной степени успокоило.

-- Вы можете написать домой, чтобы вам прислали необходимые вещи, -- продолжал следователь.

-- Значит, я сегодня уже не вернусь домой?

-- Нет. Я вынужден вас задержать. Но вот вам бумага, перо. Напишите жене.

-- Скажите, а жена моя не будет арестована?

-- По существу, она должна бы быть арестована как советская гражданка. Но мы оставляем ее на свободе в качестве воспитательницы второй, малолетней дочери. Конечно, она должна соблюдать строжайшую лояльность.

Взял перо, написал жене.

Затем меня отвели в "кинематограф", где я два или три часа ожидал, пока снарядят автобус на Панкрац.

А затем опять: контора тюрьмы, сдача на хранение воротничков, ремешков и всего, на чем можно повеситься, подъем на третий этаж и камера с забранным на три четверти досками окном и умывальником-унитазом. Сознаюсь, дико, странно и жутко мне было очутиться снова в так хорошо знакомой уже отвратительной, неестественной обстановке тюрьмы, да еще с перспективой, не возвращаясь домой, отправиться на неопределенный срок в гитлеровскую Германию.

Потекла прежняя, с известным уже мне распорядком, с полной изоляцией, бездельем и голодом, тюремная жизнь.

Надо сказать, что к 1943 году режим в тюрьме изменился. В тюрьме появились надзиратели-чехи. Они сменили немцев, взятых по нужде на фронт. Чехи говорили по-немецки, служили немцам, но... помогали чехам. Препрежней грубости уже не было на коридорах. Курящий чех из заключенных мог надеяться получить окурочек или даже целую папироску от надзирателя-единоплеменника. Разрешено было получать продукты из дома.

2 мая мне дано было во дворце Печека, в комнате следователя, последнее, как я думал, свидание с женой. Я обратился к следователю с просьбой разрешить мне повидаться с Таней, но в этом мне было отказано.

4 мая я был переведен в полицейскую тюрьму "Четверка" на Бартоломейской улице. Когда в тюрьме на Панкраце меня свели вниз и поставили носом к стене, как это принято было в гестапо, я, к своему удивлению и радости, заметил в десяти шагах от себя дочь Таню, стоявшую также носом к стене. Так как мы оба были уже вымуштрованы и знали, что глядеть по сторонам строго воспрещалось, под угрозой битья, то мы сделали вид, что игнорируем друг друга. А между тем успели и переглянуться, и перешепнуться. Оказалось, Таня ждала освобождения... Я видел, как подтанцовывали от радости ее ножки...

Бедная девочка! Она и не подозревала, что никакого освобождения не будет и что в действительности ее ожидает еще долгий-долгий путь тяжелых и опасных испытаний!.. Когда я, даже сейчас, вспоминаю эти подтанцовывавшие от радости близкой свободы девичьи ножки, у меня болезненно сжимается сердце...

Нас с Таней посадили в какой-то необычной конструкции, принадлежавший не тюрьме, а полицейскому управлению багажный автобус. В задке этого автобуса оказалось два совершенно

изолированных от кузова и прикрытых снаружи дверцами местечка. Туда нас с Таней и посадили. Автобус помчался на Бартоломейскую улицу.

Мы были вдвоем. Радостно обнявшись, стали делиться впечатлениями. Танечка рассказала, что сидела она в камере с Лидой Плахой, одной из ближайших сотрудниц Юлиуса Фучика. Ее обвиняют в связи с чешским коммунистическим кружком. Требовали, чтобы она выдала своих товарищей -- участников кружка. Она отказалась. Тогда ее стали пытаться: опускали голову в воду и не давали дышать, хватили за волосы и били головой об стену, клали на пол и били по ляжкам железными прутьями. Она все-таки ничего-ничего не сказала...

Я был в ужасе.

-- Да кто же все это проделывал?

-- Следователь в комнате 224.

-- В комнате 224?! Да ведь это и мой следователь!..

-- Там еще была полная дама. Она ему помогала.

-- Это молодой человек с темными, грустными глазами?

-- Да-да.

-- Удивительно! Со мной он был всегда вежлив.

-- А меня истязал... Он еще ударил меня кулаком по лицу и выбил зуб. Вот посмотри!

Она раскрыла рот и показала темную впадинку в верхней челюсти.

-- Звери!..

С горем и возмущением слушал я бедную девочку. Как это мне было ни грустно, я должен был разрушить ее надежду на скорое освобождение, рассказав ей о решении гестапо выслать обоих нас в Германию, в лагерь для интернированных советских граждан.

-- А где этот лагерь находится? -- спросила Таня.

-- Не знаю.

-- Хорошо, по крайней мере, что мы будем вместе!..

в "Четверке", тюрьме небольшой, мужские и женские камеры чередовались в одном и том же коридоре. Через два или три дня один из заключенных, пользуясь добродушием надзирателя-чеха, подвел меня к "волчку" расположенной в пяти или шести шагах от моей камеры и сказал: "Смотрите!" И я, к величайшему своему удивлению, заглянувши

в "волчок", увидел дочь Таню с какой-то незнакомой девушкой. А я-то воображал, что ее отвели в "женское отделение", на другой этаж!

Близость с дочерью была, конечно, очень дорога, тем более что в последующие дни она возросла: Таня, подходя сама к "волчку" нашей камеры, спрашивала о моем здоровье, я делился с ней новостями и о войне, и по нашему делу, мог передать ей книгу для чтения и т. д.

Вообще, в "Четверке" я оказался в чешской среде, потому что тюрьма была подчинена чешской полиции. Обстановка сидения была совсем другая, чем на Панкраце. Камера просторная. По одной из стен шли нары, на которых и спали заключенные (а не на полу, как на Панкраце). Ночью никто не указывал узникам, в каких положениях им нужно спать. Умывальня была устроена нормально и помещалась, вместе с уборной, в особой камерке за перегородкой. Заключенные имели если не право в строгом смысле, то возможность получать провизию от родных, не говоря уже о белье. Попадали к нам и газеты. Надзор со стороны дежурных надзирателей был непридирчивый, спокойный и ровный. Грубости и наглости не было. О побоях тут и не слыхивали. Знакомые из разных камер могли на минутку-другую встречаться.

Одно было в "Четверке", прямо сказать, хуже, чем в тюрьме гестапо: здесь совершенно не выводили, хотя бы даже на самые короткие сроки, на прогулки. Так как тюрьма была предварительной, временной, служила этапом для пересылок и заключенные отбывали здесь лишь короткие сроки, то начальство и находило возможным оставлять их без прогулок, тем более что при тюрьме, находившейся почти в самом центре города, не было большого и закрытого со всех сторон двора.

При мне в камере No 20 сидело до десяти человек: это был по большей части народ добродушный, и общение с ним развлекало.

Дня через два-три по прибытии на Бартоломейскую улицу я был вызван к начальнику политического отдела управления полиции. Кабинет начальника помещался в соседнем здании, выходящем главным фасадом на другую улицу -- на Поржичи. Сначала меня ввели в примыкавшую к кабинету канцелярию, где стояло несколько письменных столов и работало человек пять-шесть служащих. С четверть часа пришлось подождать. Потом меня пригласили к начальнику.

Вхожу в небольшой, но исключительно опрятный и изящно обставленный кабинет. На столе -- живые цветы и почти никаких бумаг:

не заметно, чтобы у начальника политического отдела было много работы.

Навстречу подымается высокий и довольно красивый молодой человек.

-- Доктор Женатый! -- представляется он, с любезной улыбкой протягивая мне руку. -- Садитесь, пожалуйста!

Сажусь в кресло у стола.

-- Скажите, пожалуйста, господин Булгаков, -- говорит доктор с прежней любезной улыбкой, -- это правда, что вы были секретарем Троцкого?

-- Я? Никогда не был!

-- Как? А мне сказали, что вы были секретарем Троцкого.

-- Это ошибка. Я не был секретарем Троцкого, а в молодости был секретарем Толстого, Льва Николаевича, знаменитого писателя.

-- Ах та-ак! -- разочарованно тянет доктор Женатый, и всякое оживление на его лице пропадает.

Затем он спрашивает меня об обстоятельствах моего ареста, о моей семье, о дочери Тане, о моих занятиях в Праге и предлагает написать жене, известив ее о моем новом местопребывании и указав на необходимость присылки мне белья и туалетных принадлежностей.

-- Впрочем, вы у нас недолго пробудете. Вы высылаетесь в Германию, и я хочу только дождаться посылки в Германию пассажирского автомобиля, чтобы не отправлять вас и вашу дочь в арестантском вагоне.

-- Когда же это может быть?

-- Дней через пять-шесть.

-- Может быть, вы разрешите мне до отъезда повидаться с женой?

-- Пожалуйста! У вас есть телефон?

-- Нет. Но к ней можно позвонить по месту службы, в психотехнический институт.

Доктор записал номер телефона и простился со мной -- любезно, но без прежнего воодушевления, вызванного в нем ложным сообщением о том, что я являюсь бывшим секретарем Троцкого.

Через неделю после свидания с доктором Женатым вызывают меня снова в канцелярию. Прихожу и вижу: на диване, на котором я недавно ожидал приема у начальника политического отделения, собрались жена,

младшая дочь Оля и старшая Таня, вызванная уже из своей камеры. Общей нашей радости не было границ. Появился ряд таинственных свертков. Оказалось, что жена и Оля привезли нам с Таней полный обед: превкусный домашний суп, второе и десерт, а также яблоки, печенье и прочее.

Тут же нас с Таней начали угощать. Служащие канцелярии делали вид, что ничего этого не замечают. Ни одна душа не контролировала наших разговоров. По камерам мы с Таней разошлись нагруженные всякими припасами.

17 мая (по случайному совпадению в день рождения Тани -- ей исполнилось 22 года) повторилось то же самое. Оба раза мы провели вместе не менее чем по часу. Все это творилось по специальному разрешению доктора Женатого, который заранее договорился с моей женой по телефону о времени обоих свиданий.

Взволновали меня при втором свидании с семьей два обстоятельства.

Разыскивая укромный уголок, я по указанию, данному мне в канцелярии, прошел далеко по коридору и вдруг увидел раскрытую дверь на двор.

"Что же это такое? -- подумал я. -- Ведь я могу выйти, раз никто за мной не следит!.."

Свобода! Да, свобода вдруг поманила меня.

И... я вышел, пересек двор, увидел перед собой открытые ворота, прошел через них и очутился на улице Поржичи.

Стою на тротуаре. Обычное городское движение: летят автомобили, проходят мимо пешеходы, мужчины и женщины, постукивая каблуками и каблучками по тротуару... И я мог бы влиться в этот поток и уйти далеко-далеко от здания полиции.

Подышав воздухом свободы с минуту, я вернулся в чешскую полицейскую канцелярию, так наивно и твердо мне "доверявшую". Бежать нельзя: кроме ответственных за меня служащих канцелярии, я оставил за спиной жену, дочерей.

19 мая 1943 года жена и дочь Оля снова собрались к нам с Таней, нагруженные обедом, печеньем, фруктами. Но, придя, узнали, к своему немалому удивлению и огорчению, что нас уже нет в полиции. В самом деле, как раз этим утром я и Таня отправлены были с большой партией политических арестованных по железной дороге в арестантском вагоне в Германию. Доктор Женатый сказал жене, что он потерял надежду дожидаться легкового автомобиля.

Тут личная связь моя с женой и младшей дочерью, а Танина с матерью и сестрой прервалась более чем на два года.

...Ехали мы в арестантском вагоне, прицепленном к обыкновенному пассажирскому поезду. Окна -- за решетками. Отдельные купе вагона третьего класса, забитые донельзя людьми, заперты из коридора таким образом, что оставалась довольно широкая щель, но совсем открыть дверь было нельзя. Таня ехала в одном купе с женщинами, я -- в другом, с мужчинами. Это были чехи и поляки, по двенадцать человек в купе, рассчитанном на восемь пассажиров. Часть ехавших, в частности люди постарше, сидели, остальные стояли.

Ехали мы хорошо знакомой мне дорогой на Радотин, Бероун, Пльзень, Хеб. Так как окна, помимо решеток, были еще на три четверти забраны деревянным щитом, то выглядывать мы могли только через узкую полоску верхней части окна. И хоть я и мало пробыл в тюрьме на этот раз, все-таки бесконечно радовал меня вид зеленых деревьев и полей, пролетавших навстречу поезду.

День был жаркий. В вагонах стояла духота. Томила жажда. Таня, по-видимому, опираясь на свое отличное знание немецкого языка, добилась права разносить арестованным воду. С особой охотой угощала она пассажиров нашего купе (еще бы -- среди них был отец), и я с отрадой смотрел на хорошенькое, веселое личико своей любимицы. Кажется, не менее тронуло оно одного молодого, высокого, аристократического вида ксендза, трогательно благодарившего мою дочку и радостно отвечавшего на ее веселые вопросы...

На станциях мимо вагона взад-вперед проходили с грустными лицами чехи и чешки. Некоторые пытались затевать разговоры с нами, но немецкие полицейские отгоняли их.

Первую ночь в дороге мы провели в тюрьме расположенного на чехословацко-немецкой границе города Хеба (Эгера). Из вагона выгрузили около ста человек арестованных, всем надели наручники (ручные кандалы), соединивши по два человека цепью во избежание попыток бегства, построили всех по шесть человек в ряды и повели по городу. Мужчины шли впереди, женщины сзади. Последним наручники не надевались.

Тюрьма в Хебе чистенькая, свежепобеленная. Камеры просторны, светлы и полны клопов. Ночевали мы на полу, частью на тюфяках, частью на подостланных одеялах.

На следующий день переехали в баварский город Хоф. Тут пробыли четыре дня. В маленькие камеры старой-престарой тюрьмы набито было

по 15--20 человек: спали лежа рядом вплотную на голом полу, положив свои чемоданы и котомки под голову. К счастью, днем всех желающих выпустили на двор: колоть и пилить дрова. После долгого сидения в праздности и неподвижности работа казалась желанной и веселой. В ней принимали участие и польские ксендзы: я разделился с ними в Хебе, а в Хофе опять сошелся. Должен сказать, что в Хофе сытно и хорошо кормили. Добродушный старичок, начальник тюрьмы, находился и хлопотал все время среди арестантов, заготавливающих дрова: он служил на своем посту, наверное, лет тридцать, явился в "третий рейх" как бы из другого, старого мира и, по-видимому, никак не мог вжиться в новые, слишком жестокие, бесчеловечные порядки...

25 мая меня, Таню и часть других арестованных перевезли из Хофа в Нюрнберг. На вокзале в Хофе простился я с польскими священниками. Они уже узнали о своем назначении. Всего их, из разных отделений вагона, набралось человек шесть. Из них пятерых отправляли в Дахау и одного, молодого, серьезного и сдержанного человека, -- в Маутхаузен. Ни они, ни мы, конечно, не понимали, чем руководствовалось гестапо, производя такое разделение. Названия Дахау и Маутхаузен тогда были еще не известны ни мне, ни полякам. И только много позже выяснилось, что оба концентрационных лагеря, и Дахау, и Маутхаузен, отличались исключительно жестокими, изуверскими порядками. Но о Дахау все-таки было слышно, что кое-кто выходил из него живым. Что же касается Маутхаузена, то этот лагерь, кажется, исключительно предназначался для убийства и уничтожения направлявшихся в него противников фашизма.

В Нюрнберге группу мужчин человек в 10--15 доставили с вокзала сначала в управление полиции. Провели на какую-то застекленную галерею второго этажа и здесь приказали всем раздеться догола: устанавливали вшивость или невшивость арестованных. Потом машиной же отвезли всех в городскую тюрьму, но не в основные тюремные помещения, а в деревянный гимнастический зал, построенный посередине тюремного двора. Здесь арестованные содержались временно, перед окончательным распределением по разным лагерям или заводам и фабрикам.

Вступив с товарищами в гимнастический зал, мы в огромном его помещении увидели множество народа -- думаю, человек триста, если не больше. Это были представители разных национальностей: чехи, поляки, французы, бельгийцы, югославы, румыны, греки и другие. Они устроились в зале островками, по национальному признаку. Русских, однако, не было. Вновь пришедшие расположились в разных местах

зала. Меня приютили группы югославы и греков, помещавшиеся рядом. Потеснившись, товарищи радушно очистили для меня местечко на общей подстилке, на полу, когда вечером надо было ложиться спать.

Рядом помещался молодой чернокудрый грек, который, узнав, что я когда-то в гимназии изучал древнегреческий язык, целый вечер читал мне на память отрывки из "Илиады" и "Одиссеи". У меня слипались глаза, и так под его чтение я и заснул... Не знаю, когда он заметил, что его "аудитория" уже ничего не слышит.

Яркий электрический свет освещал зал в течение всей ночи. Может быть, именно яркое освещение лишало сна значительную часть заключенных: всю ночь в зале продолжался галдеж, который я слышал, просыпаясь время от времени. Люди брились, мылись, как будто ночевали в гостинице и собирались на бал. Ни одного немца в помещении не было...

28 мая новая, уже иначе сложившаяся группа арестованных, в которую входили я, дочь Таня и ряд других товарищей, мужчин и женщин, отправлена была поездом, в арестантском вагоне, из Нюрнберга в направлении на Мюнхен. Опять Таня договорилась с сопровождавшим группу полицейским о разрешении ей разносить воду запертым в отдельные купе пассажирам.

Я спросил у Тани, где она ночевала в Нюрнберге. Оказалось, в тюрьме, в небольшой душной камере, притом в очень неприятной компании двух или трех женщин определенной профессии.

-- Нюрнбергская тюрьма -- отвратительна! Мне было особенно тяжело в нюрнбергской тюрьме! -- говорила Таня.

Бедняжка не знала, что через два-три дня она снова очутится в нюрнбергской тюрьме.

От сопровождавшего транспорт полицейского Таня узнала, что нас с нею везут в замок Вюльцбург, близ города Вейссенбурга, на полдороге между Нюрнбергом и Мюнхеном, и что с дороги после одной определенной станции замок этот даже виден.

Действительно, скоро мы увидели на высокой горе, налево от железнодорожного пути, старый, обомшелый замок, окруженный высокими стенами, а еще через несколько минут поезд остановился на станции Вейссенбург. Платформа почти пуста. Нас с Таней высаживают из вагона. Подходит солдат, без ружья, но с револьвером на боку: это надзиратель, командированный из замка для приема и сопровождения в лагерь вновь прибывших "интернированных".

Тут вдруг выясняется, что лагерь может принять только меня, но не мою дочь, так как это исключительно мужской лагерь и женщин там нет. Это было, по меньшей мере, неожиданно для нас с Таней: ведь само гестапо отправило нас обоих именно в этот лагерь. Говорю об этом полицейскому, сопровождающему транспорт. Тот колеблется, не знает, что ему делать, и наконец решает оставить нас с Таней в Вюльцбурге, но предварительно направить в местное полицейское управление, которое и должно будет, так или иначе, урегулировать вопрос о Тане.

Сказано -- сделано. Поезд загудел и двинулся дальше, а нас с Таней солдат повел в полицейское управление.

Там мы предстали перед полицеймейстером, пожилым толстячком с добродушной физиономией и неторопливыми, мягкими манерами.

Расспросив нас обо всем и переговорив по телефону с комендантом лагеря, категорически отказывавшимся принять в лагерь женщину, полицеймейстер заявил, что Таня должна быть отправлена на несколько дней в Нюрнберг, в тюрьму, а он тем временем снесется с пражскими властями и выяснит ее дальнейшую судьбу. Видя, что мы почти в отчаянии от предстоящей разлуки, полицеймейстер просил меня не беспокоиться и сказал, что сам будет сопровождать Таню в Нюрнберг.

Ну а затем я простился с Таней и... потерял всякий след ее на два года.

Что же с ней произошло?

Из Вейссенбурга полицеймейстер действительно сам довез ее до Нюрнберга и сдал в тюрьму, где Таня пробыла в очень тяжелых условиях три месяца. Затем по распоряжению пражского гестапо она отправлена была по этапу, от тюрьмы к тюрьме, в один из самых ужасных гитлеровских концентрационных лагерей -- Равенсбрюк, в провинции Мекленбург.

Меня присланный из замка Вюльцбург солдат тотчас по разлуке моей с Таней повел за город в лагерь.

Конечно, мне было не до знакомства с городом Вейссенбургом, который мы проходили и который является прелестным, типично баварским старинным городком с рядом замечательных архитектурных сооружений.

Мы долго подымались на вершину холма, на котором расположен был старинный замок -- крепость Вюльцбург.

Холм зарос деревьями. Красивые виды открывались с него на все стороны. Несколько раз мы отдыхали по дороге.

Вот наконец и замок, бывший бенедиктинский монастырь в XII столетии, а с 1588 года -- крепость ансбахских маркграфов. Многоэтажный длинный серый корпус углом, башня. Кругом -- стены с бастионами и бойницами. Глубокий и широкий, до 10--15 метров, ров, на дне которого разгуливает и мирно щиплет травку пара оленей. Через ров перекинут временный деревянный мост. Величественные, наглухо запертые ворота с колоннами и с полустершимися, вырезанными в камне гербами наверху. Часовой с винтовкой.

По сигналу часового перед нами открылась калитка ворот. Входим в первую, меньшую часть двора, отгороженную забором из колючей проволоки от второй, большей его части. По сю сторону решетки расположен тот подъезд замка, который ведет в комнаты, занимаемые служащими в лагере офицерами. Тут же находится деревянное строение канцелярии. За решеткой там и тут виднеются фигуры заключенных -- в потрепанном штатском платье или в старых зеленых (бельгийских) "подкинутых на бедность" шинелях.

Можно сказать, что поэзия окончилась у ворот замка.

Прежде всего меня провели в канцелярию, к коменданту майору фон Ибаху -- пожилому, полному офицеру с гладко выбритым лицом и умными глазами. Обычные расспросы: о звании, занятиях, гражданстве, месте проживания.

В конце беседы последовал приказ: поместить меня в комнату No 12. Это была большая привилегия: комната No 12 -- самая маленькая из всех, в ней проживало только двенадцать человек, тогда как в остальных комнатах, больших, холодных и мрачных, помещалось не менее чем по 35--40 человек, а всего в лагере насчитывалось более 450 интернированных советских граждан, свезенных сюда из Бельгии, Голландии, Франции, Польши и других стран.

Фельдфебель Вельфель -- собственно, главный, фактический администратор лагеря, по разным поводам многократно в течение дня соприкасавшийся с заключенными, -- ведет меня во второй этаж замка, где помещается комната No 12. Поднимаемся не по лестнице, а пандусом, то есть по мощенному булыжниками въезду для верховых или для экипажей. Эта оригинальная черта -- отсутствие лестницы -- в архитектуре замка сохранилась от старых времен. Важные обитатели замка, дамы и господа, очевидно, считали слишком обременительным для себя подыматься или спускаться пешком. Можно также предположить (по аналогии со старым замком в пражском кремле, где также имеется пандус), что по мощеному въезду подымались наверх конные рыцари для участия в турнирах в каком-нибудь большом зале --

вроде знаменитого Владиславского зала в Праге. В комнате No 12 нахожу десять моряков, капитанов, механиков и одного врача, арестованных фашистами при захвате в первый день войны в немецких портах шести судов советского торгового флота*, и двух штатских, моих добрых знакомых, привезенных из Праги, а именно: Александра Филаретовича Изюмова, заведующего отделом рукописей Русского заграничного исторического архива, и Аркадия Владимировича Стоилова, моего земляка, сибиряка, преподавателя латинского языка в пражской русской гимназии. Оба пражанина, как и я, являлись советскими гражданами и оба также арестованы были в первый день войны.

Изюмов, Стоилов и "морское" население комнаты встретили меня дружелюбно, указали койку и место за одним из продолговатых и узких, ничем не покрытых деревянных некрашенных столов, познакомили с порядком и правилами лагерного поведения и вообще сделали все, чтобы я почувствовал себя "своим" в их компании. Так обратился я в советского интернированного No 342.

Полученный мною номер "342", кстати сказать, был выгравирован на металлической пластинке, которую следовало носить на шнурке на шее, чего ни я и, кажется, никто другой из интернированных не делал. Между тем, как объясняло начальство, пластинка с номером могла оказать арестованным важную услугу: в случае вашей смерти она зарывалась вместе с вами в могилу, и если бы впоследствии родственники ваши пожелали перевезти ваше тело на родину, они на основании пластинки с номером могли бы (очевидно, перерывши ряд могил!) безошибочно его отыскать на безымянном, запущенном и заросшем крапивой кладбище в окрестностях лагеря. Чтобы избежать какого-нибудь недоразумения в этом деле, лучше было, конечно, постараться не умирать в лагере. Но к сожалению, и эта задача была далеко не для всех разрешима.

Глава IV

Старшие из обитателей комнаты No 12 -- четыре капитана, судовой врач и пражские интеллигенты -- были освобождены от обязательной физической работы. Если не ошибаюсь, капитаны, находящиеся за границей, приравнивались по своему положению к дипломатическим представителям, и никакие принудительные работы не могли быть им навязаны. За ними, как и за нами, оставалась только необходимость "заботиться о себе": стирать свое белье, чинить платье, топить печь, в очередь с товарищами мыть шваброй и тряпками пол в комнате, ходить на кухню за общим обедом и т. д. Остальные моряки -- помощники

капитанов, механики, радисты, не говоря уже о матросах, -- участвовали в общей работе, в лагере или вне его -- на вейссенбургских фабриках и заводах, у окрестных крестьян, в лесу. Врач лечил больных. А. Ф. Изюмов иногда работал добровольно, чтобы увеличить свой паек.

Оглядевшись в "своей" комнате, я увидел, что капитаны и вся их компания жили очень скромно, почти как в тюрьме. Кроме двух столов и грубо сколоченных стульев и табуретов, в комнате имелось еще четыре железных трехэтажных стояка с койками. Спали на сенниках. Другая мебель отсутствовала. Впрочем, в соседней темной комнатухе имелись еще скромные деревянные шкафы, в которых можно было хранить лишнюю одежду и белье. Там же находился кран с водой. Под ним умывались.

Из единственного окна в комнате капитанов открывался вид на верхнюю часть широкой каменной стены, окружавшей замок и заросшей травой и даже кустарником, и через стену -- на близкий городок Эллинген и на далекие леса за ним. Город Вейссенбург только по вечерам просвечивал огнями через загораживавшую его купу деревьев. Сколько я потом, летом, просидел на подоконнике, вдыхая свежий воздух, любуясь природой и видом живописного городка с возвышавшимся посреди него торцом бывшего местного феодала князя Вреде!..

В остальных комнатах помещались преимущественно матросы. Кроме них, содержались в лагере бывшие служащие советских полпредств, представители других интеллигентных профессий, рабочие.

Молодые матросы работали преимущественно на разных фабриках и заводах города Вейссенбурга.

За работу начальство отчисляло в пользу работавших с их заработка по 50 пфеннигов в день. Но подчас перепадала рабочим в городе возможность подкрепиться едой или принести с собой в лагерь кусок хлеба или несколько кусков сахара. Разрешалось приносить пиво в бутылках.

Находились среди моряков искусные мастера, изготавливавшие деревянные портсигары, игрушки и променивавшие их в городе населению на хлеб или картошку. Охрана лагеря отбирала при утреннем обыске изготовленные для города вещи, а при вечернем -- выменянные продукты. Но своеобразный "промысел" все же не прекращался.

Особенно наострились моряки в изготовлении чудесных моделей морских судов и кораблей. Модели эти так нравились начальству лагеря, что оно разрешило группе матросов изготавливать их легально, в особой

мастерской. Часть моделей начальство присваивало себе бесплатно, другую часть продавало, отчисляя опять-таки ничтожный процент вырученной платы в пользу мастеров.

Капитанам и людям постарше не выдавалось случая подработать, и они жили гораздо скромнее, чем молодежь. Впрочем, капитаны преподавали матросам морские науки и за это тоже получали дань... картошкой, главным нашим питательным ресурсом. Стоилов, Изюмов и я занимались преподаванием русского языка, а также других предметов гимназического курса.

Как питался лагерь? Сурово. Минимально. Совершенно недостаточно. К сожалению, забыл цифры -- придется обойтись без них.

На день выдавался кусок черного хлеба -- может быть, граммов 300 - и кусочек маргарина. Утром пили суррогат кофе. В обед дежурные из каждой комнаты (в том числе и мы с капитанами) приносили в особом котле из "камбуза", или кухни, находившейся в отдаленной пристройке к замку, овощной, крупяной или гороховый суп, сваренный поваром-морьяком елико возможно съедобнее, и делили его -- по тарелке на брата.

На второе полагалось каждый день одно и то же: вареный картофель в мундирах. Сколько? Может быть, 300--400 граммов.

Картофель делился дежурным "по столу" на равные кучки. Затем дежурный отвертывался к стене, а кто-нибудь другой из ожидавших обеда указывал на ту или иную кучку и вопрошал: кому?

Дежурный отвечал: "Изюмову... Стоилову... капитану Новодворскому..." -- и названное лицо получало указанную кучку из семи или восьми разного размера теплых, мягких картофелин.

При такой строгости дележа претензий и обид уже не бывало.

Так кончался обед. Вечером опять пили суррогат кофе или чай, причем подбрасывался иногда кусочек колбасы или сыра. Тем и кончался дневной "пир". В результате, конечно, многие из нас "молодели" и делались тоньше и стройнее.

На первых порах пребывания в лагере меня осаждали товарищи, желавшие познакомиться и расспросить и о жизни в Праге, и о политическом положении в Европе, и о положении на фронте, и, наконец, о Толстом. Были среди спрашивавших и молодые, и старые, и симпатичные, и не очень симпатичные люди, как, например, один чехословацко-германский, обезьяньего вида банкир, по какому-то недоразумению попавший в наш лагерь.

Позже я убедился, что интерес к вновь прибывшим наблюдался во всех случаях, независимо от личности того или иного нового жителя лагеря. Люди слишком засиделись взаперти, в очень ограниченном кругу, чтобы не интересоваться живо всем, что происходило за пределами этого круга.

Чтобы не повторяться в рассказах о Толстом, я предложил капитанам устроить лекцию о великом писателе. Но об этом узнали другие заключенные, и уполномоченный интернированных капитан Филиппов (он жил не в камере № 12, а в отдельной комнате) добился от комендатуры разрешения устроить лекцию о Толстом для всех интернированных. Лекция состоялась на дворе замка, на полянке, окруженной деревьями, в воскресенье 27 июня 1943 года, когда все матросы были дома. Я рассказывал о своем знакомстве с Л. Н. Толстым, о Льве Николаевиче как человеке, об его уходе и смерти. Не уложившись в намеченное время, продолжил свой рассказ в воскресенье 1 августа. Слушали жадно.

Жажду знаний вообще я скоро заметил и у "морской" молодежи, и у более старших представителей мореходного дела.

У обитателей нашей камеры, капитанов и других, была привычка, улегшись вечером спать, требовать от кого-либо из присутствующих, и преимущественно от трех старших представителей "интеллигентного цеха", прочтения лекции на любую тему. А. Ф. Изюмов прочел лекции на целый ряд тем из русской истории. А. В. Стоилов рассказывал о переживаниях в эпоху гражданской войны, в которой он принимал участие в качестве командира советской дивизии. Я говорил то о Толстом, то о встречах с Шалапиным, то о Ганди и об освободительном движении в Индии, то о своих лекционных поездках в разные страны. Выступали и некоторые другие из обитателей комнаты. Например, врач рассказывал о некоторых интересных случаях из своей медицинской практики.

Управление лагерем находилось в руках четырех офицеров. Комендантом лагеря состоял майор фон Ибах, имевший репутацию довольно спокойного и в общем доброжелательного человека. Эту репутацию он действительно оправдал и в ежедневной жизни, и особенно в тяжелые дни эвакуации лагеря и вывода всех интернированных вслед за отступающими немецкими войсками на юг весной 1945 года, о чем я еще буду рассказывать.

Старшим из его помощников был капитан Вольраб, высокого роста брюнет с большими усами и с беспечной, светской улыбкой. Этот, можно сказать, мягко стлал, а спать бывало жестко. Излишняя

требовательность и подчас даже жестокость проявлялись им особенно по отношению к молодым рабочим. В лагере его не любили и побаивались.

Над третьим офицером, фамилия которого не сохранилась в моей памяти (сдается, что я даже не знал ее), просто смеялись, как над пустым фатом. Это был длинный и тонкий, как жердь, молодой лейтенант, бывший народный учитель, по всей видимости, совершенно счастливый, что война помогла ему из скромного деревенского жителя превратиться в столь блестящего офицера "великой" германской армии. Он ходил с перетянутой талией, в умопомрачительно начищенных сапогах, грудь колесом и победоносно оглядываясь во все стороны с высоты своей каланчи. Большого вреда не приносил, но иногда надоедал и мне, и другим глупыми, неуместными вопросами.

Наконец, уже перед концом нашего пребывания в лагере, появился еще один офицер, лейтенант по фамилии Нонненмахер, тоже бывший народный учитель, по характеру своему, однако, резко отличавшийся от только что описанного лейтенанта-учителя. А именно был скромн и даже пуглив, как девушка. Проводя вечернюю поверку, бывало, как-то бочком и с испуганным выражением на лице вваливался во главе группы надзирателей в нашу комнату, робко делал под козырек, пересчитывал присутствующих и, снова козыряя, со словами: "gute Nacht" -- неловко выметался из небольшой комнаты, задевая плечом, локтями и саблей за все углы и выступы. Этот никому ничем не вредил.

Многие из интернированных, в том числе и моряки, захватили с собою в лагерь разные книги. Книги эти хоть и хранились у владельцев, но составляли как бы общелагерную библиотеку. Циркулируя среди заключенных, они приносили им много отрады. Доставлялся также заключенным официоз национал-социалистической партии "Volkinher Dsobachter", и надо сказать, что интернированные отлично умели этой газетой пользоваться. Конечно, главным образом извлекали они из национал-социалистической газеты военные сообщения, умея читать и печатный текст, и то, что затаено было между строк.

Газета доставлялась как раз в комнату No 12. По вечерам сюда приходило много моряков из соседних комнат -- слушать новости. Читали газету, переводя текст с немецкого на русский, я или радист Б. Д. Стасов, родной племянник В. В. Стасова. Лагерные "стратеги" потом обсуждали военные сообщения, мнения часто расходились, и страстные споры были постоянным явлением в комнате No 12.

5 июня 1943 года мне разрешено было послать первую открытку домой. 27 июня я получил ответ от жены. С тех пор и мне, и тем из

заклученных, чьи родные жили за границей, разрешалось -- не помню, раз или два раза в месяц -- посылать открытки родным. Одновременно я, а также Изюмов, Стоилов стали изредка получать продовольственные посылки из дома.

В своих открытках я не раз ставил жене вопрос о Тане: где находится Таня? Но жена ухитрялась всячески обходить этот вопрос. Изредка только передавала мне приветы от Тани. Она действительно переписывалась с дочерью, но правильно рассчитывала, что сообщать мне о пребывании Тани в концентрационном лагере значило бы еще более увеличивать тяжесть моего собственного заключения.

Трудно было бы сидеть долгие месяцы в лагере, только разгуливая по двору, принимая солнечные ванны и читая газеты. Хотелось хоть в чем-то быть продуктивным, и я возобновил, с грехом пополам, свои литературные занятия -- разумеется, постоянно имея в виду немецкую цензуру. Цензура осуществлялась официальным немецким переводчиком зондерфюрером Гельмом. Последний не столь уж блестяще разбирался в русском письме и языке, и обмануть его, закамуфлировавши истинный смысл написанного, не стоило большого труда. Бумагу приходилось выменивать за хлеб или картошку у матросов, работавших в городе.

А. В. Стоилов усердно работал над составлением русско-чешского словаря и грамматических пособий, вставая для этого ежедневно в 5 часов утра, чтобы воспользоваться "благословенной" утренней тишиной. Не желая мешать спящим, он устраивался в соседней темной комнатке, где зажигал маленькую электрическую лампочку. Там, просыпаясь на два часа позже и идя умываться, заставляли мы его скорчившимся над тетрадами и книгами.

А. Ф. Изюмов, человек образованный, способный и остроумный, сильно опустил в заточении и ничего не делал. Табак, картошка и картишки, процветавшие в одной из еврейских комнат, доступ в которую был свободен, -- вот все, что его интересовало. Как я уже говорил, иногда он выходил за пределы лагеря на работу -- опять-таки чтобы усилить свои ресурсы: табачные, картофельные и картежные.

Я, между прочим, завидовал Изюмову, что он часто покидает замок, ходит или ездит на грузовой машине по городу, видит дома, людей и природу. По природе я очень скучал за каменными стенами замка, на которые и забраться-то было нельзя, потому что заключенных, как я уже упомянул, отделяла от них еще двойная ограда из колючей проволоки.

Однажды на утреннем "аппеле", в сентябре месяце, когда все интернированные, выстроившись, стояли на дворе, а Вельфель назначал отдельные их группы на определенные работы, я заявил о своем желании отправиться на работу по заготовке дров в лесу. Вельфель посмотрел на меня с удивлением, но разрешил присоединиться к маленькой группе, назначавшейся в лес. С этой группой шел и А. Ф. Изюмов.

Надо ли говорить, что после долгого заключения, разъездов в арестантском вагоне, ночлегов по тюрьмам день, проведенный в большом, прекрасном лесу, дал мне ощущение большого, настоящего счастья? Работал-то я кое-как, от этого меня освобождали молодые товарищи, и сами-то не очень налегавшие на работу, но чудный воздух, дивные картины природы, обед у костра, возможность вытянуться и полежать на траве -- все это бесконечно радовало, полно было неизъяснимого наслаждения.

Несколько раз еще выходил я на работу, корчевал пни, обирал хмель в хозяйстве одного подгороднего крестьянина, собирал грибы с "Филаретычем" (Изюмовым), пока жестоко не простудился и не слег с ревматизмом в больницу.

В конце 1943 года в крепости помещены были свезенные из разных лагерей 25 пленных советских генералов и 100 с лишним высших офицеров, начиная с чина майора. Группа эта, помещенная в соседний корпус замка, сразу же подверглась строжайшей изоляции. Комендантом лагеря отдан был часовой приказ стрелять по интернированным, которые выглядывали из окон своего корпуса на офицеров и генералов, гулявших в определенное время дня по двору. Равным образом часовые угрожали стрельбой офицерам, подходившим к окнам в то время, когда по двору гуляли интернированные. Стекла в окнах замка, выходивших на двор, были даже замазаны известью, чтобы сквозь них ничего не было видно.

Попытки смотреть друг на друга были, и надо сказать, что нередко часовые приводили в исполнение свою угрозу стрельбы.

Меня, да и других интернированных, особенно привлекала среди офицеров фигура Героя Советского Союза полковника авиации Власова. Не помню, как дошли до нас сведения о фамилии этого офицера, но о его звании нам легко было судить по золотой звездочке, украшавшей грудь полковника и ярко сиявшей на солнце, а также по другим знакам отличия. Удивительно, что полковник сохранил и в плену ордена на своей груди. (Ни на ком другом из офицеров ни орденов, ни медалей мы не видели.) Вероятно, думали мы, немцам пришлось отступить перед

той энергией, с которой герой-офицер защищал свое право не расставаться со своими исключительными военными наградами. Был полковник Власов молодой, изящный мужчина, с несколько небрежной развалыцей и с независимым видом расхаживавший -- по большей части в одиночестве -- среди офицеров...

И вот с этим полковником Власовым случилась беда. Он решил бежать из лагеря-крепости -- дело чрезвычайно трудное и, как можно было заранее сказать, почти безнадежное. Но в данном случае -- провалившееся, как это ни странно, только благодаря одной непредвиденной случайности.

Естественно, что за четыре года существования лагеря интернированными предпринимался целый ряд попыток бегства из заключения. Бежать из самой крепости, с ее укреплениями, колючей проволокой и окружающим ее глубоким рвом с отвесными стенами, было трудно. Бежали с работ из города. Некоторые попытки увенчались успехом. Другие не удались. Ранней весной 1942 года задумали бежать двое интернированных, прибывших из Праги: Кривокощенко и Филиппов. Не знаю, почему эти советские граждане оказались в столице Чехословакии и с каким учреждением они были связаны. Об их плане бегства немцы узнали еще до его осуществления. Однако не воспрепятствовали намерению интернированных, но, дождавшись, пока пленники попробовали осуществить свою попытку, застрелили обоих (14 марта 1942 года). Других бежавших, уже при мне, ловили за пределами лагеря и возвращали в замок.

Полковник Власов договорился с двумя матросами-мастеровыми, вставлявшими по распоряжению начальства железные решетки в окнах в помещении для офицеров. Матросы сделали пролом в стене, разделявшей общий лагерь и лагерь для офицеров. Пролом был незаметен, потому что выведен был под кровать, стоящую у стены пустовавшей камеры нашего лагеря, а обломки кирпича и мусор ежедневно убирались и выносились на двор. В одном окне нижнего этажа в нашем корпусе замка была подпилена решетка так, чтобы ночью можно было, отстранив решетку, выбраться из замка. Затем в стене, окружавшей замок, было найдено место, где камни обрушились, что давало возможность взобраться на стену. А так как именно в этом месте стена очень близко подходила к стене замка, то вместо двойных проволочных заграждений тут имелись лишь одинарные, перебраться через которые не представляло особых затруднений. Далее, заготовлены были веревки для спуска в ров и для подъема на противоположную его

сторону. Конечно, и тут заранее намечено было такое место, где этот подъем так или иначе мог быть осуществлен.

Все эти стадии побега, начиная с необходимости ползком пробраться через узкий пролом из офицерского лагеря в общегражданский, должен был проделать полковник Власов.

В ночь с 10 на 11 августа 1943 года по всему лагерю понеслись отчаянные крики, призывавшие на помощь.

К нам в комнату ворвались дежурный офицер (это был капитан Вольраб), фельдфебель Вельфель и солдаты. Они приказали всем подняться и встать в одном белье около постелей. Наспех всех пересчитали и, размахивая руками, с криками и угрозами снова исчезли, оставив нас в полном недоумении: что, собственно, произошло -- убийство? побег?..

Потом выяснилось, что рабочий из Франции, ночевавший в комнате No 5, в которую должен был проникнуть через лаз в стене полковник Власов, как раз перед тем получил посылку с табаком. Опасаясь, как бы его ночью не обокрали, он загородил дверь в комнату двумя столами, поставивши их один на другой. Когда матросы -- организаторы побега попытались ночью войти в комнату и с силой толкнули дверь, верхний стол полетел на пол и загремел, рабочий проснулся, кинулся с перепугу к окну и закричал. Его пытались уговорить молчать, били, грозили выкинуть из окна -- он все орал как оглашенный... Поднялась тревога. Побег был сорван.

Полковника Власова, в одних носках и с сапогами в руках, нашли тут же, неподалеку, в темном коридоре нашего лагеря. Он успел уже перебраться на эту сторону через лаз...

Началось расследование. Власть заподозрили чуть ли не всех обитателей лагеря в том, что они участвовали в подготовке побега. В этом обвинялись, в частности, наши "уполномоченные" капитаны Филиппов и Ермолаев. Пошли слухи об исключительных репрессиях, которые грозили будто бы всем заключенным. Говорили даже о возможности расстрела каждого пятого или десятого.

Но эти слухи затихли, когда стало известно, что двое молодых матросов, Леонов и Маракасов, сами явились к коменданту и заявили, что это ими одними подготовлен был предполагавшийся побег полковника Власова.

-- Других сообщников у нас не было, -- говорили они. -- Просим лагерь не беспокоить. Мы в ответе за все. Делайте с нами что хотите! Невинные страдать не должны.

Поступок этот очень поразил немцев.

Через некоторое время я видел, как Леонов и Маракасов с мотком веревки в руках забирались в сопровождении начальства на стену замка, как раз под окнами нашей камеры No 12. Леонова и Маракасова заставили проделать весь тот путь, который они подготовили для Власова. Все удалось им как нельзя лучше.

-- Стопроцентная гарантия успеха, -- заявил комендант, -- если бы не тревога, поднятая рабочим в пятой комнате!..

Разумеется, и Власов, и оба матроса были арестованы. К сожалению, их уже не оставили в нашем лагере, а отправили в неизвестном направлении: или в Нюрнбергскую тюрьму, или в один из штрафных концентрационных лагерей*.

С января 1945 года начались особо учащенные налеты англо-американской авиации на города Баварии: мы слышали гром бомбардировок и видели зарево на горизонте то в стороне Нюрнберга, то в стороне Ротенбурга, слушали сообщения об обстрелах то Ашаффенбурга, то Вюрцбурга. Потом наступила очередь Вейссенбурга и Эллингена. Часто -- и днем, и ночью -- аэропланы пролетали над нашей крепостью, но никогда ее не бомбили. Англо-американцам, очевидно, было известно, что в Вюльцбурге помещался лагерь советских интернированных и военнопленных, и они не сбросили над замком ни одной бомбы. Комендатура, однако, строго следила, чтобы во всех помещениях для заключенных соблюдалось затемнение и чтобы все окна с вечера тщательно загораживались набитым на деревянные рамы плотным картоном.

Иногда, выйдя утром на "аппель" после ночного налета, мы находили на дворе длинные и широкие серебряные ленты: ленты эти, сброшенные ночью с большой высоты, своим мерцанием под снопами света немецких наземных рефлекторов сбивали с толку прислугу зенитных орудий, принимавшую их мерцание за отсветы уже пролетевших дальше самолетов. Другие компетентные люди утверждали, что серебряные ленты сбивали с толку радиолокаторы.

Грозный рокот ночных налетов, равно как вид высоко-высоко скользящих в воздухе и как длинные серебристые рыбки ныряющих, где можно, в целях укрытия в облака, сеющих смерть и разрушение летательных машин, был страшен. Часто мы слышали взрывы брошенных бомб в Вейссенбурге, видели из нашего окна огромные клубы черного дыма от разрывов бомб в Эллингене, слышали от возвращавшихся из Вейссенбурга рабочих о человеческих жертвах и

разрушения в обоих лежащих поблизости от нашего замка городах. Зарево на горизонте, то к северу от замка, в Нюрнберге, то к западу, в Ротенбурге, то к югу, в отдаленном Штутгарте, вместе со вспышками осветительных ракет -- все это переносило нас в какой-то фантастический, возбужденный и разорванный внутренней борьбой мир.

Однажды ночью я видел подшибленный над Вейссенбургом летевший на небольшой высоте в сторону от города и, может быть, только что освободившийся от своего страшного груза англо-американский аэроплан. Сначала в теле его, между корпусом и хвостом, показался яркий огонь (вражеское попадание!), затем хвост отвалился, упал, а вслед за ним, с разгорающимся пламенем на одном конце, накренилось и полетело вниз, как перышко, все огромное и тяжелое тело самолета. Подобную картину я видел впервые в жизни, и она произвела на меня кошмарное впечатление.

"Боже мой! Ведь там люди!" -- пронеслось у меня в голове.

И я живо представил себе, как с побелевшими и перекошенными лицами вылетали из своих сидений и падали один на другого "живые мертвецы" -- авиаторы и бойцы. Что было у них в душе!..

В конце ноября 1944 года появился в лагере новый комендант полковник барон фон Гоувальд. Оказалось, что тот, кого мы раньше считали комендантом, майор фон Ибах, состоял в действительности лишь заместителем коменданта. Он сохранил свое место и теперь.

На утреннем "аппеле" новый начальник лагеря, приземистый военный с невыразительным, плоским лицом и с выпяченным брюшком, представился интернированным, обратившись к ним с речью.

-- Ваша судьба находится в ваших руках, -- торжественно провозгласил он, покачиваясь взад и вперед и притопывая свеженачищенным сапогом в такт своим словам. -- Все зависит от вашего поведения. Может быть, чего-нибудь и не хватает в лагере, но с лишениями нужно мириться. Сейчас война, и от лишений страдает весь немецкий народ. Я сам четыре года провел в плену (в каком именно плену -- не было сказано) и знаю ваши нужды. Все, что возможно, будет для вас сделано. Но только необходимо неукоснительное исполнение всех распоряжений начальства. За неисполнение распоряжений я буду строго наказывать.

Помнится, с конца января 1945 года ясно обнаружился общий неуспех немцев, и в частности неуспех на нашем фронте. Отпали Верхняя Силезия и Восточная Пруссия. Немецкие войска быстрым маршем удирали из Советского Союза. Англо-американцы занимали

один за другим западные города. Бомбардировки баварских населенных мест становились все ожесточеннее. Фронт надвигался на Вюльцбург. Немецкие газеты уговаривали население "не делать паники".

Приблизительно тогда же, то есть с конца января или с февраля месяца, неожиданно улучшилось питание интернированных: увеличены были порции хлеба, картофеля, приобретены были две туши убитых при бомбардировке коров и скормлены интернированным, несколько раз, в виде приятного сюрприза, подавалась невиданная до того овсяная каша. Однажды вдруг ни с того ни с сего розданы были интернированным... теплые зимние наушники!..

Подготавливался "поход". Выяснилось, что склады не удастся вывезти -- стало быть, они при отступлении должны были достаться врагу. Решено было поэтому немного подкрепить интернированных перед предстоящими им новыми испытаниями.

С начала мая рабочих перестали посылать в город. Все интернированные целый день проводили в лагере. Молочники и другие случайные информаторы рассказывали, что в Вейсенбурге происходит паника: ожидают прихода врага. Война кончалась.

Глава V

В субботу 21 апреля 1945 года с утра нам было объявлено, что лагерь эвакуируется, и предложено приготовиться к выступлению пешком в тот же день. Из вещей разрешалось каждому брать с собою не более 30 килограммов, а остальное следовало упаковать и оставить на хранение в кладовой лагеря. Для транспорта багажа обещаны были три-четыре подводы, которые должны были сопровождать колонну интернированных.

Начались лихорадочно-поспешные сборы. Я взял с собой два небольших чемоданчика: в один, размерами побольше, уложил главным образом белье, в другой, совсем маленький, -- рукописи. Белье я решил сдать на подводу, а рукописи нести самому. "Богачи" горевали, что не могут захватить с собой всю накопленную картошку. Бывший учитель украинец Букато, друживший с "профессорами", пришел в нашу комнату, чтобы распить с товарищами заработанную в городе и принадлежавшую ему бутылку красного вина.

Часть интернированных, больных и стариков, оставалась в замке.

В семь часов вечера всех собравшихся в поход выстроили во дворе, на плацу. Но внезапно разразился ливень. Мы вернулись часа на полтора в замок. За это время удалось немного полежать и набраться сил к походу. Потом снова выстроились на дворе. Начался подсчет

собравшихся в дорогу. Фельдфебель и унтера все сбивались в счете. Наконец за дело взялся заместитель коменданта майор фон Ибах, который твердо установил, что в путешествие отправляется 349 интернированных.

В десять часов вечера длинной колонной, построенной по четыре человека в ряд, мы вышли за ворота крепости.

-- С богом! -- произнес Изюмов.

-- С богом! -- повторил за ним и атеист Стоилов.

Люди были взволнованны. Никто не мог сказать, что ожидало нас впереди.

Стояла чрезвычайно ранняя весна. Все кругом зеленело. Отрадно было покинуть опустылевший замок и очутиться среди природы.

Взяли направление на город Эйхштетт. Однако никто не знал, является ли Эйхштетт конечным пунктом нашего путешествия или нет. Говорили только, что в Эйхштетте имеется старый монастырь, в огромных зданиях которого найдется достаточно места, чтобы разместиться всем интернированным. Но позже мы узнали, что приказано было все вообще население как нашего лагеря для интернированных, так и многочисленных концентрационных лагерей отвести за реку Дунай, откуда Гитлер собирался оказать врагам "последнее сопротивление". Нас вели в город Ингольштадт на Дунае.

Комендант фон Гоувальд уехал вперед. Нас сопровождали фон Ибах, три офицера, подчиненных коменданту, фельдфебель Вельфель и отряд солдат, которые редкой цепью окружали всю колонну.

Впереди шли старики: старый еврей Богдаша, похожий одновременно на Троцкого и на Ганди, певец Яров, Бродский и другие. За ними следовали тоже немолодые "профессора", капитаны и затем -- все остальные. Так как старики особой быстротой не отличались, то и вся колонна подвигалась вперед медленно, не спеша.

На расстоянии приблизительно одного километра шла за нами выведенная в тот же вечер из Вюльцбурга колонна из 140 человек советских офицеров.

Скоро стемнело. Мы перевалили через горы, миновали хвойные леса. На светлом небе засияла яркая луна.

По дороге попадались обломки разбитых бомбами автомобилей, полуразрушенных зданий. За нами слышна была сильная канонада, пылало зарево: подвергались бомбардировке и горели, очевидно,

Вейссенбург и Эллинген. Возможно, что англо-американцами был уже занят замок Вюльцбург. Война гналась за нами по пятам.

С короткими перерывами на отдых мы шли всю ночь и только в 6 часов утра 22 апреля достигли селения Рупперсбах, лежащего в 18 километрах от Вюльцбурга. Погода неожиданно, по-весеннему, изменилась: подул холодный ветер и повалил снег. Между тем, вопреки нашим предположениям, в Рупперсбахе не оказалось никакого подготовленного для нас помещения. Мы расположились на деревенской площади. Кто стоял, кто присел где-нибудь на завалинку или облокотился на низкий заборчик. Фон Ибах и Вельфель суетятся, кого-то и что-то ищут, а мы ждем. Усилившийся резкий ветер жжет нам уши и щеки, легкие пальто и шинели не хранят от мороза.

Только через час найдены были помещения и для интернированных, и для офицеров. Я, Изюмов, Стоилов и десятка два других интернированных оказались в одном из классов рупперсбахской школы. Тут мы ночевали на соломе, разостланной на полу. Помню, как старый и дряблый Стоилов, лежа рядом со мной, блаженно и почти истерически хихикал: над нами была крыша, тело согревалось на соломе.

"Не знаю, что будет завтра, а сегодня живем!" -- читал я на его старческой, сморщенной физиономии со щелочками счастливых, смеющихся глаз.

Проснувшись утром, узнали, что ни в Вейссенбург, ни в Вюльцбург пробраться уже нельзя: они заняты англо-американцами. После импровизированного обеда, для которого с трудом было найдено и приобретено в деревне потребное количество картофеля и мяса, выступили в дальнейший поход.

Идем по чудной горной дороге, среди прелестного баварского пейзажа.

Война, однако, не отставала от нас. Давно уже обгоняли нас военные машины, грузовые и легковые, переполненные солдатами и офицерами.

Машин становилось все больше и больше. Отступали артиллерия, танки, Красный Крест. Вперемежку с машинами подвигались в полном беспорядке пехотные части. Вот отряд молодежи: мальчишки-эсэсовцы по 16--17 лет, в защитных, серо-зелено-пятнистых плащах спешат вперед, не соблюдая строя, из последних сил, бледные, усталые, грязные...

Вельфель и солдаты оттесняют нашу колонну к сторонке, уговаривая быть осторожными и не раздражать эсэсовцев.

Но вот и Эйхштетт.

Эйхштетт, очевидно, уже испытал вражеские бомбежки. У вокзала -- огромные воронки от взрывов бомб, рядом -- разбитые паровозы и вагоны, выгнутые рельсы разрушенного железнодорожного пути.

Едва мы вышли за черту города, как позади раздались один за другим два взрыва огромной силы: оказывается, немцами взорваны были мосты через Альт-Мюль, чтобы преградить дорогу неприятелю.

Наивное ожидание интернированных, что их остановят в Эйхштетте для отдыха или для очередного ночлега в каком-то комфортабельном здании, не оправдалось. Колонна, не останавливаясь, прошла через город. И только поздно ночью, пройдя 15 километров, мы остановились в неизвестном селении и помещены были на ночь в огромной деревянной риге, заполненной сеном. Следовавшие за нами военнопленные советские офицеры из лагеря Вюльцбург, как оказалось после, заняли в том же селении другую ригу, несколько меньших размеров.

Эти две "квартиры" для интернированных найдены были майором фон Ибахом, опередившим наше шествие на велосипеде и сговорившимся с крестьянами -- владельцами риг. Он, должно быть, и сам сознавал весь трагизм нашего положения -- положения сотен людей, лишенных крова и даже какой-то определенной цели в своем нелепом странствии по полям и горам, -- и по свойственной ему порядочности старался хоть как-нибудь и хоть на какой-то срок нас "устроить".

Картина усталых людей, в полной темноте зарывающихся в горы и сугробы сена, сталкивающихся, спорящих о местах и переругивающихся, выглядела своего рода Дантовым адом. Курить, конечно, было строжайше запрещено. Ночью ожидалась англо-американские бомбежки, и многие из интернированных сознательно располагались поближе к воротам: в самом деле, упади хоть одна бомба в ригу, костер получился бы ужасный.

На другой день все с грехом пополам и с большим опозданием позавтракали. С трудом нашли картошку, частично похитив и растаскав ее с воза и из кладовой хозяина риги. На зеленом дворе, примыкавшем к риге, развели костры, сложили печурки из попавшихся под руки кирпичей, подогревали таганы.

Скоро стало известно, что заместитель коменданта решил прекратить дальнейшее продвижение на юг и оставить интернированных там, где они расположились, причем продовольствование всех русских возложено было им на бюргермейстера селения. Тут, кстати сказать, узнали мы и название этого селения: Мекенлое.

В тот же день фон Ибах, двое из офицеров, фельдфебель Вельфель и солдаты покинули интернированных. Остался при них только третий из офицеров, тишайший и смиреннейший Нонненмахер, в обязанность которого входило сдать наш лагерь наступающим американцам. Комендант фон Гоувальд давно уже "смылся" куда-то в тыл. Через несколько дней мы узнали, что он будто бы был пойман и должен предстать перед судом.

Все застрывшие в Мекенлое ликовали: Вюльцбург кончился!

Главой лагеря и новым уполномоченным интернированных был избран моряк капитан М. И. Богданов, серьезный, честный, когда нужно -- по-товарищески гуманный, а в иных случаях -- волевой, твердой руки человек.

В ночь на 25 апреля вокруг нас происходило большое движение войск: пехоты, танков, артиллерии. Раздавалась канонада. Прибежавшие откуда-то эсэсовцы забрали у нашего хозяина солому и устроились на ночлег в сарае рядом.

Утром 25-го канонада продолжалась. К обеду она усилилась. Показались неприятельские аэропланы, и, к нашему удивлению, по ним началась пальба из деревни. Палил пулемет. От нашего двора хорошо была видна дорога, по которой третьего дня мы пришли в деревню, и весь бой за Мекенлое, разыгрывавшийся теперь на этой дороге, хорошо был нам виден. Немецкие танки и пушки палили в сторону неприятеля. Выстрелы и взрывы, сопровождавшиеся клубами дыма, продолжались до вечера. В сражении участвовали и немецкие женщины, одетые в серое: мы видели, как они мелькали между деревьями.

У нас заготовлено было три белых флага, которые предполагалось разостлать на земле после отступления немецких войск, но пока сделать этого было нельзя по той простой причине, что Мекенлое продолжало еще оказывать сопротивление: в нем отсиживался немецкий отряд, действовали зенитные орудия. Одно такое орудие палило шагах в пятидесяти от нашего стана. Иногда неприятельские красноносые боевые самолеты -- штурмовики, "суперы" пролетали низко над ригой.

Говорили, что англо-американцы находились в девяти и в четырех километрах от нас, в двух пунктах.

Вторая ночь не обещала ничего доброго. Все интернированные, исполняя приказ уполномоченного, давно уже укрылись в риге, и на ночь ворота риги были закрыты, а около них поставлен караул.

Ночью пролетали над нами аэропланы, но бомбежки не было.

Проснулся я часов в 5 утра. Вдали било тяжелое орудие -- будто бы по Ингольштадту, куда мы направлялись. Узнал также, что части 3-й американской армии генерала Паттона находятся в двух километрах от Мекенлое. Участь деревни была решена. При въезде в Мекенлое наши люди вывесили надпись на английском: "В этой деревне находятся 318 советских интернированных и 140 советских офицеров".

Часов в 9 утра началась опять в разных местах орудийная пальба. Над нами низко пролетали немецкие самолеты.

В 12 часов дня начался воздушный бой как раз над нашей ригой.

50 англо-американских боевых самолетов летели с севера на юг, на Ингольштадт. Тотчас снизу, из деревни, забили зенитки, а сверху накинута эскадрилья немецкие истребители. Засуетились и англо-американские истребители.

С кучкой русских я наблюдал за тем, что делалось в небесах, прячась у ворот в ригу. Гляжу -- один англо-американский бомбомет выбросил сноп пламени с хвоста и, горя, пошел вниз, за лес. Вслед за тем вся эскадрилья -- остававшиеся невредимыми 49 самолетов -- описала большой круг и вернулась на север. Замолкли и зенитки.

Но песенка Мекенлое была уже спета. Немцы отступили. В половине третьего дня появился белый флаг на шпиле деревенской церкви. Белый флаг был распростерт и над стогом соломы, возвышавшимся на нашем дворе. Стало известно, что к селению приближаются американские танки. Навстречу им вышла делегация во главе с бюргермейстером Мекенлое. В состав делегации вошли Богданов и Аронович (актер) -- от бывших интернированных.

Все население лагеря высыпало на улицу. И вот наконец долгожданная, торжественная минута полного освобождения наступила. Почти вплотную к воротам нашего лагеря подходит и останавливается американская машина с пулеметом. Со своего места подымается красивый молодой лейтенант, оказавшийся, как мы тут же узнали, итальянцем Иосифом Шарлем Паганелли. К нему бегут со всех сторон с приветственными криками, окружают, жмут ему руку освобожденные интернированные, некоторые даже в слезах, целуют его -- и он всем с милой улыбкой отвечает поклонами и отдачей чести.

Подходит другая машина, и ее также все бурно приветствуют.

Американцы вытаскивают и раздаривают папиросы, их рвут -- не для курения, а на память. У Паганелли просят автографов, и он безотказно выставляет свою фамилию на бесчисленных протягиваемых

к нему листках бумаги, книгах для чтения, записных книжках. Наконец его вытаскивают из машины и качают...

Вот ведут наших "мослов", то есть караульных солдат, уже арестованных. Среди них попадаются ненавистные бывшим интернированным физиономии. Всего набралось их человек 20--30. Идут по двое. А конвоируют их вооруженные ружьями два советских офицера из состава бывших вюльцбургских военнопленных.

Тут впервые я узнал, что все так строго охранявшиеся в Вюльцбурге советские офицеры тоже свободны. Через минуту я встречал их уже толпами, группами. И тоже улыбаются, радуются, обнимают, целуют, благодаря за помощь (хлеб): "Вы -- наши спасители!.."

Юноша летчик с милым, обветренным, бледным лицом и мягкими, женственными манерами, в сдвинутой на затылок меховой шапке и с мохнатыми меховыми голенищами сапог принимает со всех сторон приветствия с тихой, светлой улыбкой, как принц, точно изнемогая от счастья.

Один довольно бесцеремонный американец из третьей подошедшей к нашему лагерю машины вдруг обращается к юноше "принцу" с вопросом:

-- Не хотите ли поменяться со мной шапками?

-- Пожалуйста!

И молодой человек охотно протягивает американцу свою прекрасную пушистую и теплую меховую шапку, а тот отдает ему свою, гораздо худшего качества и без меховой подкладки. Не хочется обвинять американского солдата в стремлении сделать "бизнес". Хочется верить, что оба обменялись шапками только "на память о встрече".

Другой юноша офицер, худой, высокий, с дикими, восторженными глазами, видимо, обалдевший от счастья, жадно хватает всех встречных, обнимает и целует.

На крыльце ратуши стоит бюргермейстер с белым флагом в руках. Кругом толпятся девушки, дети, русские и украинцы из числа насильно перемещенных, то есть захваченных и увезенных немцами в Германию как рабочая сила.

Один русский паренек обращается к девушке:

-- Смотри, Феня, теперь не работай больше!

-- А кто же за меня будет работать?

-- Хозяйка!

-- Как бы не так!..

-- Ну да, теперь ты будешь хозяйкой, а она работницей.

-- Нет, я не хочу немцам приказывать, я хочу, чтобы меня отправили домой.

Впервые пользуясь полной свободой, я скоро ушел за деревню, в поле, и присел на траву на маленьком холмике под двумя сосенками. В направлении на юг, куда ушли немецкие войска, простиралась широкая равнина. Откуда-то издалека, из-за края этой равнины, долетали звуки пальбы. Там, вероятно, шли еще бои. А тут, вокруг идиллического Мекенлое с его колоколенкой, увенчанной луковичной главкой, было все безмятежно и тихо.

Возвратившись в деревню, присутствую при опросе ее мужского населения лейтенантом Паганелли. Все мужчины, не исключая пастора, выстроились в длинную линию перед зданием ратуши. Паганелли подходил к каждому, начиная с первого правофлангового, и спрашивал, чем он занимается и не служит ли в войсках. Меня поразила доверчивость американца. Отпустив после минутного разговора пастора, он таким же порядком отпустил всех одетых в гражданское платье мужчин, хотя бы и молодых и вполне здоровых. Особенно странным с военной точки зрения показалось мне освобождение здорового, высокого и крепкого молодого мужчины, годившегося по своему сложению в гвардию и, может быть, состоявшего в гвардии.

-- Вы чем занимаетесь?

-- Служу на текстильной фабрике, гостил у родителей...

-- Можете идти!

Подозрительный "штатский" облегченно вздыхает и тотчас скрывается в толпе.

Этот момент проявления полного равнодушия к врагу я много раз потом отмечал в своей памяти. Не было ли с самого начала дано соответствующее указание сверху о том, как надо относиться к немцам, служившим и не служившим в войсках?

Задержано было только несколько молодых раненых солдат в форме.

Ночевали опять в риге, которая вечером была обстреляна -- на этот раз немецкими боевыми самолетами, вооруженными пулеметами. Наутро мы нашли следы множества пуль на стенах риги. Однако никто из людей не пострадал.

С 27 апреля управление в деревне перешло в руки советского коменданта полковника Ермакова, избранного руководящей группой офицеров и моряков. У входа в комендатуру появился красный советский флаг с серпом и молотом. Деревня Мекенлое оказалась "оккупированной" советской властью.

В тот же день все офицеры и бывшие интернированные покинули свои временные убежища в ригах и размещены были по квартирам у местных жителей. Небольшая группа, состоявшая из меня, Изюмова, Стоилова, бывшего художника Гилкина и украинца-учителя Букато, помещена была в двух маленьких комнатках в старинном домике пастора Георга Штиха, тихого, пожилого человека, который принял нас приветливо и гостеприимно. Странно было впервые после долгого периода очутиться в обстановке культурного дома и вечером ужинать в настоящей столовой.

Пастор сознавался, что иначе, хуже представлял себе русских. По его наблюдению, русские матросы и офицеры вели себя очень скромно.

-- Это отнюдь не были те люди, о которых нам твердили, что у них и образа-то человеческого нет. Американские солдаты держали и держат себя гораздо более распушенно.

В пасторской библиотеке оказался ряд книг по искусству (например, шеститомное издание "Всеобщей истории искусства" доктора А. Куна) и по истории местного края с интересными сведениями из прошлого Вюльцбурга, Вейссенбурга, Эйхштетта, и я усердно штудировал эти книги в течение тех десяти дней, что мы пробыли в Мекенлое. С группой матросов я даже посетил в воскресный день старинную церковь с интересной деревянной скульптурой над алтарем, созданной в 1700 году и изображавшей коронавание Девы Марии.

Товарищи матросы с любопытством следили за богослужением и держали себя в церкви крайне сдержанно и даже боязливо. Между прочим, прежде чем войти в церковь, спрашивали, когда надо снимать шапки: уже при входе на церковный двор или только при вступлении в самый храм? Эта деликатность людей, в других условиях сильных, волевых и решительных, умилила меня.

Часто приходили в Мекенлое из окружающих лесов бежавшие ранее из лагерей и скрывавшиеся одичалые и голодные русские. Их принимали и зачисляли на довольствие, которое, кстати сказать, организовано было вполне прилично, тем более что к картофелю, мясу, яйцам, хлебу и молоку, доставлявшимся крестьянами Мекенлое и окрестных деревень, присоединялись еще продукты, получавшиеся от

американцев: консервы супов, мяса, горох, прекрасно пропеченные бисквиты.

По радио слушали мы военные и политические новости. Так, именно в Мекенлое узнали мы о гибели Гитлера, о повешении в Милане Муссолини и семнадцати ближайших его сотрудников, об аресте Хорти, о боях в Мюнхене, Праге, о падении Любека, Киля.

Глава VI

Как ни благополучно жилось в Мекенлое, надо было, однако, трогаться дальше, пробираться домой. Огромное большинство советских граждан, собравшихся в Мекенлое, направлялось в СССР. Наша маленькая пражская группа, состоявшая из меня, Стоилова, Изюмова и Гилкина, решила сначала пробраться к семьям и к месту постоянного жительства за границей -- в Прагу, в Чехословакию. Нас не смущало, что в Праге, согласно сообщениям по радио, происходили ожесточенные столкновения между немцами и восставшими чехами. Большинство еврейских граждан СССР намечало путь в Англию, Францию, Польшу.

1 мая в десятом часу утра покинули Мекенлое все моряки, как матросы, так и капитаны. На пяти грузовых американских машинах они уехали в местечко Ротт (близ Нюрнберга), где имелся большой лагерь для военнопленных. Оттуда они предполагали пробраться к морю и возобновить службу в том или ином советском пароходстве.

5 мая расстались с Мекенлое советские офицеры. На шести машинах они отправились, если не ошибаюсь, в тот же лагерь для военнопленных в местечке Ротт, куда отбыли перед ними моряки.

6 мая выехали и мы, пражане, грузовой машиной в город Ингольштадт, на Дунае. Всего отправилось нас 14 мужчин, считая в том числе меня, Изюмова, Стоилова, Гилкина, и 7 девиц -- русских работниц, в свое время насильно увезенных немцами в Германию. Девушки оставили теперь своих хозяев и боялись, кабы их не забыли в Мекенлое. В Ингольштадт мы ехали потому, что туда приглашал желающих американский майор Грахам, обещая транспорт, квартиру и продовольствие. Мы считали, что из Ингольштадта, как значительного центра сосредоточения американских войск и транспортных средств, легче будет, чем из Мекенлое, добиться возможности дальнейшей отправки на Пльзень и на Прагу. Девушки и другая часть мужчин надеялись продвинуться на юг Советского Союза. Железные дороги в Германии были разбиты и полностью стояли. Рассчитывать можно было только на американский автомобильный транспорт.

Надо сказать, что расчеты наши впоследствии оказались слишком оптимистическими и во многом ошибочными.

Доехав до Ингольштадта, мы только пересекли город, чтобы попасть в назначенные нам на житье казармы на другой стороне Дуная. Миновали садики в цвету, уютные домики с побитой пулями штукатуркой стен. Промелькнул чудный пестрый собор. Вот главная улица с рядом разрушенных домов. Но и в уцелевших зданиях стекол нет. Магазины закрыты. Народу на улицах почти не видно. А дальше, к Дунаю, картина разрушения еще страшнее: улица за улицей идут почти сплошь разбомбленные, обратившиеся в узкие проезды между горами щебня и кирпича. Сиротливо вздымается остов церкви без крыши. Жуткое впечатление!

Переправились через Дунай по понтонному мосту, поддерживаемому гуттаперчевыми челнами. Полубовались на синие быстрые волны.

Затем выросло перед нами огромное круглое белое здание без окон. Это казармы "Трива", где мы должны остановиться. Казармы "Трива", подобно Вюльцбургу, построены были как крепость, с тяжелыми воротами и башнями.

В проходе главной башни имелась такая надпись: "Вход сюда запечатан. Заходящие лица будут строго наказаны. Приказ военного правительства".

Круглый двор был сплошь завален грудями всевозможных вещей и мусора. Тут валялись брошенные мундиры, обувь, белье, ремни, пустые чемоданы, котелки, стаканы, чашки, бумага, книги и пр. и пр. Все это, очевидно, брошено было немцами при поспешном отступлении. Среди хлама попадались клочья разорванных портретов Гитлера, а также обломки его гипсового бюста. Во внутренних помещениях четырехэтажных казарм мы нашли кровати, одеяла, простыни с подушками, столы с полуразбитой и разрозненной посудой, пакеты с сахаром и чаем. Тотчас охотники застались и вещами, и провизией рассыпались по всему зданию. В сенях за одним из входов в казармы оказались сложенными горой 35 ящиков с мясными консервами в больших банках.

Никакого караула внутри казармы не было. Апатичный американец с ружьем стоял только снаружи, у входа в крепость. Но и он не мешал русским проходить и туда, и обратно.

Мы скоро почувствовали необходимость как-то организовать себя. По предложению А. В. Стоилова я был избран старостой группы, а чешский

гражданин скрипач Саша Гроссман и русский парикмахер Лука Алейников -- завхозами.

Начали с того, что ящики с мясом, как исключительно ценное имущество, переместили из передней во внутренние помещения нижнего этажа во избежание захвата какой-нибудь организацией или группой, которая могла вслед за нами появиться (и действительно появилась в крепости уже на другой день). Там же, в двух-трех комнатах, имевших достаточное количество кроватей, решили мы все расположиться. Устроились сносно, если не считать постоянного сквозняка, державшегося потому, что стекла в окнах везде были разбиты. Продовольствие, из состава найденного, раздавали порциями.

В тот же день, часов в восемь, посетила лагерь группа ответственных американцев во главе с молодым человеком, которого все называли "сэр Кац" и которому, казалось, такое титулование доставляло большое удовольствие. Участники нашей общины поспешили познакомиться меня с "высокопоставленным лицом", наперерыв размахивая руками и рассказывая ему о моем прошлом. Сэр Кац все благосклонно выслушал, задал мне один-два дополнительных вопроса, посмотрел сам и показал спутникам карточку, где мы сняты с великим Толстым, а поздно вечером прислал для группы русских десять великолепных двойных байковых одеял.

Наши курильщики во главе с А. Ф. Изюмовым возбудили вопрос о куреве. Один из помощников Каца, немец по национальности, принес из автомобиля коробку с сотней сигар и в придачу две коробочки папирос. Сигары (валюта!) разделены были поровну между русскими и чехами, а папиросы отданы курильщикам. Девушки получили по плитке шоколада.

На другой день наши "разведчики" открыли неподалеку от форта "Трива" брошенный немцами и наполовину разоренный склад одежды и обуви. Все желающие посетили этот склад и запаслись тем, что кому было необходимо. Именно отсюда вывез я в качестве трофея серую офицерскую куртку.

На склад, между прочим, забралась каким-то образом колоссальная свинья. Она, как и люди, ходила, подминая все под себя, по грудам прекрасных военных фуражек. Потом вскарабкалась на широкую нижнюю полку одного из открытых шкафов, провалилась, все поломала вокруг и еле вылезла на свободное пространство... Пудов десять, я думаю, весила красавица! Так, в вольной прогулке, я и оставил ее на разоренном складе...

У входа в склад стоял американский часовой, но он был совершенно равнодушен и к подвигам свиньи, и к стремлению представителей разных национальностей запастись на складе всем необходимым. Так ставит все на голову война!.. Немцев, однако, часовой отгонял.

Но я видел, как однажды подошла к воротам форта "Трива" бедно одетая немецкая женщина в сопровождении маленькой девочки. Женщина наивно расспрашивала, где она может повидать американского бюргермейстера: ее разбомбили, разграбили, лишили имущества, и она хотела бы получить разрешение посмотреть и поискать по городу свои вещи. Американский часовой ничего не мог сказать женщине об "американском бюргермейстере", но предоставил ей гору бисквитов и консервов, валявшихся на другом близлежащем складе, и даже подарил ручную (немецкую) тележку, чтобы отвезти провизию домой.

-- Я три года буду этим жить! -- говорила, уходя, счастливая немка.

Американские солдаты, к которым я потом имел достаточно времени приглядеться, производили довольно благоприятное, хотя иной раз и несколько странное, впечатление. Среди них были англичане, итальянцы, французы, сербы, поляки, чехи, негры. Все это были молодые, энергичные, сильные и подвижные ребята, весьма малоформальные в своем поведении. Часовые, которые должны были бы стоять смирно на карауле, обычно разводили костерочек и разогревали себе консервы. Не раз видел я, как проходившие по улицам Ингольштадта молодые американские солдаты подбрасывали для развлечения вверх свои каски и ловили их. Иные носились по улицам и по бульварам как сумасшедшие на мотоциклетах и при этом громко хохотали. В парках и на бульварах американцы усердно ухаживали за молоденькими немочками и тоже вели себя презабавно. Один раз я видел такую картину: на скамейке сидит барышня, один американец-солдат стоит против нее, а другой, взобравшись на ту же скамейку с ногами, сидит на корточках направо от барышни и мирно с ней беседует... Ни немца, ни русского не представишь в такой позе!

На бульвары и парки американцы, по-видимому, смотрели вообще как на свой дом и располагались тут на отдых в самых непринужденных позах.

Лица у большинства солдат были довольно интеллигентные. Американцы больше походили на веселых студентов, чем на солдат.

Вскоре в форт "Трива" привезли освобожденных английских и канадских военнопленных на пяти или шести грузовиках. До того они содержались где-то на Одере.

Вновь прибывшие быстро ориентировались, рассыпавшись по всей крепости. Одну из трех бесприютных свиней, бродивших вокруг, зарезали и зажарили. На дрова рубили все, что попадалось под руку на дворе и в комнатах. Имущество, сваленное в кучи на дворе, быстро растащили. Разожгли два огромных костра. Снарядили людей за водой. Из брошенных немцами и подобранных на дворе и в комнатах ружей начали -- на пробу! -- палить. Вдруг страшный визг раздается со двора: это наши русские девушки визжат в страхе, увидев окровавленную голову зарезанной свиньи. Солдаты совали им эту голову под нос. Двое англичан забрались, неизвестно зачем, на крышу... Под вечер двое или трое приезжих взяли у нас фонарь, ручаясь всем святым, что вернут его, но не вернули...

Шум, грохот, треск горящих сучьев, стук топора, разноплеменный говор, песни сразу наполнили и оживили тихий и почти безмолвный до того двор форта "Трива". Облака дыма от костров подымались к небу.

Англосаксы, французы, поляки, негры повалили в наши три комнаты, требуя обмена хлеба на мыло, присаживаясь выпить предлагаемого им чайку. Почти все успели нарядиться в немецкие фуражки с соседнего склада -- фуражки, которые портила свинья-уничтожительница и которые я так жалел.

Ночью шум на дворе и внутри крепости, за пределами наших комнат, продолжался. Подвозились новые группы бывших военнопленных. А с утра началась их эвакуация. На грузовых автомобилях англичане и канадцы перевозились на аэродром, а оттуда отправлялись на самолетах в Англию. Нельзя было не завидовать счастливым! На перелет из Ингольштадта в Лондон требовалось всего 5--6 часов, а может, и того меньше...

В тот же день и вся наша русско-чешская группа со всеми пожитками перевезена была на грузовике, в два приема, в другое помещение, именно в огромные, пятиэтажные кирпичные корпуса так называемых "казарм мира" в самом Ингольштадте, за рекой. Пришлось, не разгружаясь, долго ждать, пока для нас подыскивались в казармах свободные комнаты. Наконец три комнаты были найдены: в одной из них помещены были восемь бывших интернированных, в другой -- четверо "стариков" (я, Гилкин, Изюмов, Стоилов) и в третьей -- девушки, а в придачу двое "кандидатов в старики", тоже из среды бывших интернированных.

"Казармы мира" загружены были множеством французов и приехавших раньше нас русских. С французами мы не сталкивались, а с русскими, и в частности с комендантом советского лагеря Ив. Ив. Куницей, у нас сразу завязались многообразные деловые отношения (добывание продуктов, предметов быта, уборка комнат, планы дальнейшей эвакуации и т. п.). Отношение к нам было самое внимательное, товарищеское. Кстати, пищу мы получали от советского отделения лагеря -- пищу довольно однообразную, но все же достаточную на худой конец. Это был все больше суп, суп и суп, правда, с мясом. Кроме того, выдавался хлеб. И как можно было мечтать о лучшем среди такого хаоса?! Никто и не мечтал.

В советском отделении лагеря числилось под началом товарища Куницы 1600 человек. Шум и движение в закрытых помещениях и на дворе были невероятные. Песни, разговоры, беготня... На дворе -- игры, танцы, катание на велосипедах. Масса мужской и женской молодежи, флиртующей направо и налево. Взаимное общение, вход и выход из лагеря до семи часов вечера -- совершенно свободные.

К сожалению, некоторая часть земляков заражена была пагубным пристрастием к "зеленому змию", а так как достать водку не всегда было возможно, то пили суррогаты. Последствия были, конечно, самые грустные. При нас состоялись похороны двух русских, отравившихся древесным спиртом.

Рядом с нами, отделенный только заборчиком и колючей проволокой, расположен был лагерь немецких военнопленных. Немцев, бывших солдат и офицеров, будто бы сосредоточено было в Ингольштадте до 40 000 человек. Часть из них помещалась в тюрьме. Проходя однажды мимо тюрьмы, А. Ф. Изюмов видел множество немцев на тюремном дворе. Католические монахини разносили им питье.

Как-то, в середине жаркого дня, я подошел поближе к немецкому лагерю, чтобы лучше его рассмотреть. Он был раскинут на узком, но исключительно длинном -- едва ли не в полкилометра длиной -- и хорошо утрамбованном плацу, примыкавшем к низким, одноэтажным каменным баракам. Плац этот был набит грязными, обносившимися или обнаженными до пояса (из-за жары) немцами, как сельдями в бочке. Были тут и пожилые, и молодые люди. Одни из них расхаживали взад и вперед, другие сидели вдоль проволочных заборов, окруженные своим скарбом: сумками, узелками, куртками, сапогами, фуражками и т. д. Потные плечи, груди и спины блестели на солнце. Тут же, прямо на площади или в грязных серых палатах, немцы и спали. Внутри, вдоль

ограды, кое-где виднелись американские часовые с ружьями. Двое часовых отгоняли от лагерных ворот, выходявших на улицу, немощных женщин -- матерей, жен, стремившихся хоть издали увидеть среди арестованных своих близких.

Движение в городе вообще было огромное. Убывали одни и прибывали другие группы "перемещенных". Шли перевозки немецких военнопленных. Проходили, точнее, проезжали через город (опять-таки на грузовых автомобилях) американские войска. Часто грохотали танки, артиллерия. Иногда за ночь вырастали в парке, на площадях палатки американских солдат, а через два-три дня они снова складывались и исчезали.

Все наши стремления в Ингольштадте сводились к тому, чтобы добиться переезда в Прагу или в один из попутных городов по направлению к Праге. Рассчитывать, как я уже говорил, мы могли только на американский транспорт. Мы получали обычно категорические и в то же время довольно неопределенные обещания, которые часто, когда приходили их сроки, не исполнялись.

Параллельно с англо-американскими властями работали в городе по распределению военнопленных и по организации их транспорта, хотя и не обладая при этом, по-видимому, никакими транспортными средствами, советские офицеры: симпатичный молодой майор Сальников и другие. Они стояли на той точке зрения, что все русские, независимо от того, где они проживали до войны, должны были немедленно отправляться в Советский Союз. Я лично считал бы величайшим счастьем возвращение на родину, хотя бы теперь и в общем потоке возвращающихся военнопленных и "перемещенных", но как чувствовал бы я себя, вернувшись в Москву или в Ясную Поляну и оставив за границей жену и двух детей?! Я не мог миновать Прагу, хотя бы для того, чтобы захватить свою семью на пути домой.

Идти пешком (думали и об этом!) старикам было бы не под силу. Отказались и от этой идеи.

Приходилось ждать.

Между тем казармы, в которых мы приютились 12 мая, были срочно, в течение двадцати минут, освобождены для американских солдат.

Судьбой всех невольных обитателей Ингольштадта распорядилась "оккупирующая держава", то есть американцы. Вот текст выданного мне и Изюмову ордера на проживание в частном доме:

"Штаб-квартира Военного управления.

Отделение ТА-5, АПО 403.

Армия Соединенных Штатов.

14 мая 1945 года.

Настоящим предлагается Вам приютить и кормить Валентина Булгакова и Александра Изюмова до того времени, когда русские гражданские интернированные смогут быть отправлены к себе домой.

Официальные Союзные экспедиционные войска Военного управления.

Офицер Военного управления

Спенсер".

Ингольштадт, бывшая резиденция баварских герцогов, мощная крепость, культурный и промышленный центр, в XV--XVIII веках -- университетский город! В какое запустение приведен был он в результате страшной войны между культурными народами XX столетия!..

И надо сказать, что разгром города произошел в самые последние дни войны, когда ему пришлось испытать несколько налетов англо-американских самолетов. Эсэсовцы, паническое отступление которых мы видели под Эйхштеттом, укрепились ненадолго в Ингольштадте, но бежали и оттуда, взорвав за собою мост через Дунай.

Местами немецкие военнопленные работали под надзором американцев по закапыванию воронок. В пивных и гостиницах мыли окна. Стало даже возможным в одной-двух пивных получить кружку пива... То тут, то там открывались то аптека, то парикмахерская... В нашей квартире загорелось электричество. Ингольштадт как будто опомнился, пришел в сознание после страшного удара и начал оживать, оправляться.

Да, Адольф Гитлер, творец "нового немецкого счастья", заслужил-таки памятник, но -- какой?!

Памятник -- чучело: фигура, составленная из военной куртки, сапог, штанов, каски, газовой маски на месте лица, с двумя кинжалами, воткнутыми в грудь, и с немецкой надписью внизу: "Adolf Hitler, Deutschlands Fuhrer, ist todt!"* Под надписью -- свастика.

Все проходящие мимо смеются...

Накануне поляки устроили торжество и "хоронили" фигуру фюрера, с песнями и музыкой.

Да, фюрер умер.

Приходившие политические новости были сенсационны. С восстановлением электрического освещения в квартире у наших хозяев начало действовать радио, и мы узнали, что арестованный Гиммлер отравился цианистым калием при допросе, что арестован "преемник" Гитлера адмирал Дениц, арестованы генерал Йодль и другие немецкие военачальники, а также 400 офицеров, что Бенеш в Праге устраивает смотры повстанцам, что арестован заместитель чешского протектора Франк (этот человек заслужил свою участь!), что профессор Неедлый назначен министром народного просвещения и что в средних школах в Чехословакии вводится изучение русского языка, что немецкий университет в Праге закрывается, а вместо этого открывается университет славянский и т. д. и т. д.

Глава VII

В первых числах мая явился к нам однажды майор Сальников и сообщил, что наконец удалось наладить русский транспорт, то есть отправку русских американскими грузовыми машинами в город Линц, в Австрию.

Хоть нам и предстоял долгий и продолжительный путь на Прагу -- через города южной Германии и Австрии вместо нормального и короткого северного пути через Нюрнберг, -- но все-таки мы решались и на это долгое путешествие, в надежде, что оно в конце концов все же приведет нас домой.

В 6 часов утра погрузились мы с двадцатью другими товарищами -- русскими, калмыками и итальянцами -- на грузовой автомобиль и в составе длинной колонны машин тронулись в далекий путь.

К общему удивлению всех транспортируемых, в Линце машины не остановились. Откуда-то появился слух о том, что в городе свирепствует тиф и что будто бы в Линц никого не впускают и из него не выпускают. Вместо Линца нас доставили в огромный советский лагерь близ австрийского города Штейра, расположенного на границе американской и советской зон. Лагерь находился под русским командованием, но при въезде и выезде из него дежурили вместе с советскими и американские постовые. Дальше, в недалеком расстоянии, находилась уже советская зона, где американцев не было. Думаю, что в достижении этой зоны и состоял смысл отправки сотен советских граждан из Ингольштадта в Штейр.

Лагерь в Штейре помещался на территории бывшего автомобильного и аэропланного завода.

Въехали на широкий двор перед одним из трехэтажных каменных корпусов, среди множества народа. Нас поместили всех вместе на втором этаже здания, где мы нашли столы и кровати. Вечером, в темноте, распределялись на 1000 человек, стоявших в очереди, привезенные нашими машинами из Ингольштадта американские припасы: хлеб, мясные консервы, сыр, яйца. Заснули поздно. Кругом было шумно от движения и разговоров...

Вставши на другой день и полюбовавшись из окна на чудный, свежий горный альпийский вид, расстилавшийся за лагерным забором, позавтракали кофе с молоком и хлебом. Затем вышли на двор, где толпилось уже множество народа и где два советских офицера -- молодой, красивый лейтенант со значком "Гвардия", с орденом "За отвагу" и двумя медалями и пожилой, но стройный капитан, тоже с орденами -- давали обступившим их "перемещенным" лицам ответы на различные интересовавшие их вопросы: и об их личном положении, и о сроках дальнейших отправок, и о военных событиях, и о жизни на родине.

Мы подобрались через толпу к одному из офицеров и спросили, что нам теперь надлежит делать. Ответ был: ждать регистрации.

Между тем молодых людей, находившихся в толпе, собирали и делили на группы. Одни из этих групп определялись на военную и караульную службу, которую надо было отбывать за границей, другие отправлялись на работу по подготовке базы для русских военных отрядов, по устранению разрушений, причиненных войной.

Рекрутов тут не стригли. Один паренек раздавал свои вещи, правда, ветхенькие (богатство рабочего человека!): теплую куртку, пальто, штаны, даже запас картошки.

-- На что мне это теперь? Думал, еду на родину, а раз поступаю на военную службу, так мне этого ничего не надо...

В лагере, который был не чем иным, как транзитным пунктом для отправки людей в разные страны, находились представители различных национальностей: тут, кроме граждан СССР, были и чехи, и словаки, и болгары, и итальянцы, и французы, и даже греки. Последние занимали особый барак против общей столовой; над баракom развивался сине-белый греческий флаг.

Попадались в лагере и немцы из числа военнопленных. Все они работали: столярничали и деловито колотили молотками на дворе, чинили мусорные ящики, убрали и сжигали отбросы и т. д. Нисколько не сомневаюсь, что немцы-рабочие получали человеческий паек и,

следовательно, должны были в эту тяжкую пору ценить свое, казавшееся столь незавидным, положение.

Часть русских, особенно семейных, расположилась на житье на дворе, под навесом, вокруг узлов и чемоданов со своим скарбом. Среди них я видел и пожилых людей. Как и зачем они оказались в Германии? Может быть, эмигрировали по своей доброй воле, а теперь, вкусив сладости жизни на чужбине, снова возвращались домой?

Лагерь, вообще, организован был прекрасно. В комнатах поддерживалась чистота. Имелись умывальники, клозеты. В большой столовой тоже все было опрятно, кушанья выдавались умелыми, спокойными и вежливыми служащими. Царил порядок и в канцелярии, а также в огромной комнате, где мы потом регистрировались и где по столам расположены были в алфавитном порядке огромные, большого формата книги, куда мы по заранее намеченным рубрикам вносили все сведения о себе. Мужчины и женщины располагались в разных помещениях. Словом, везде и во всем чувствовалась строгая организующая рука. Лагерь заметно отличался от ингольштадтского американского лагеря, где царил порядочный хаос.

В два часа дня я разыскал майора Дубникова, председателя комиссии по реэвакуации советских граждан. К майору привел меня и представил ему молодой офицер, которого я просил на дворе об этом одолжении. Мне надо было, главное, доказать майору необходимость для нашей маленькой группы возвращения в Прагу и просить его о содействии этому делу.

Майор, занимавший главный стол в большой комнате, где работало еще несколько офицеров и барышень-переписчиц, принял меня весьма любезно. Это был невысокий, широкоплечий и некрасивый человек лет сорока -- сорока пяти. Сам подал стул.

Я упомянул о своем отношении к Л. Н. Толстому, о работе в музеях Толстого в Москве, вынул и показал заповедную фотографию (Толстой со своим последним секретарем). Майор заинтересовался и показал фотографию находившимся в комнате товарищам.

В конце беседы майор сказал:

-- Вам надо ехать в Советский Союз. Такие люди нужны Родине. Ну да мы посмотрим. Вот у нас через день-два предполагается транспорт на Мельк. Поезжайте-ка с этим транспортом! Вы, четверо... Что же касается чехов, итальянцев и калмыков, входящих в вашу группу, то они будут распределены по принадлежности. Но пусть подождут: сначала будут отправляться русские. Итальянцы? Сказать по правде, к итальянцам-то

мы не относимся так же любезно, как к другим... Ну да посмотрим!.. Вот что, товарищ лейтенант, передайте коменданту лагеря, чтобы он предоставил отдельную комнату для четырех товарищей. Они по возрасту и по заслугам имеют право на особое внимание с нашей стороны.

-- Слушаюсь, товарищ майор!

Лейтенант тотчас отвел меня к коменданту. Комендант, В. К. Боровиков, инженер в чине полковника, служащий в артиллерии, занимал две комнаты, в которых проживал со своей женой. Молодой человек с приятным лицом, одетый не в военную форму, а в простенький темный пиджачок, комендант Боровиков оказался на редкость симпатичным и приветливым. Я застал его сидящим за столом в компании двух-трех американцев и трех-четырех русских, как офицеров, так и штатских. Бутылки и стаканы, стоявшие на столе, раскрывали, как казалось, смысл этого "заседания". Познакомившись, комендант тотчас усадил меня за стол, наполнил из ближайшей бутылки чем-то светлым пустой стакан и поставил передо мной.

Думая, что это водка, стесняясь сразу отвергнуть гостеприимство советских офицеров и надеясь, подобно Перу Гюнту, поправить дело компромиссом, я попросил отбавить полстакана и долить стакан водой. Но мне весело объяснили, что надобности в этом нет, потому что мне предлагался стакан моста, то есть превкусного яблочного кваску, которым и развлекалась, разговаривая, компания.

Начались расспросы и рассказы. Удивительным образом оказалось, что двое сидевших здесь служащих лагеря с красными повязками на рукавах содержались одно время в Вюльцбурге. Дошло дело и до великого и всем известного Льва Толстого и до моей фотографии с ним, которая, видимо, заинтересовала присутствующих.

-- "Война-мир"! -- сказал по-русски один из американцев.

-- Да, да, Толстой написал роман "Война и мир", -- подтвердил комендант лагеря.

От отдельной комнаты, которую комендант должен был предоставить пражской "четверке" по предложению майора, я отказался, но очень просил ускорить, если можно, наш отъезд в Мельк. На это мне было сказано, что дня два-три нам придется подождать, потому что в Мельке все переполнено.

Перед моим уходом вошел еще кто-то в комнату, меня представили ему как "секретаря Толстого" и рассказали о показанной мною фотографии. Вновь пришедший тоже захотел взглянуть на фотографию,

но, как это ни было странно, ее нигде не оказалось -- ни у меня, потому что я пустил ее по рукам, ни у кого из присутствующих. Момент был крайне неловкий, но я постарался затушевать его, заговорив о чем-то другом. О фотографии как будто забыли, а я хоть и пожалел об этом клочке картона, оказавшем нам, четверым, в нашем путешествии ряд неоценимых услуг, но все же примирился с его исчезновением.

И что же? На другой день вошел в комнату, где я помещался с участниками нашей группы, высокий, симпатичный американский офицер, который накануне был главным собеседником коменданта (он говорил по-русски), и протянул мне утраченную мною фотографию со словами:

-- Вот это я взял у одного пьяницы...

Выслушал мою благодарность, улыбнулся и ушел.

Хотя фотография и была неизвестным похитителем перегнута пополам, как раз по лицу Льва Николаевича, так, чтобы ее удобно было сунуть в пиджачный карман, но все же она не утратила своих чудодейственных свойств и еще не раз отлично послужила четверке пражских "стариков".

О своих переговорах и с майором, и с полковником-комендантом я доложил уже не только "пражанам", но и всей "своей" группе, разросшейся постепенно до семидесяти с лишним человек и все еще считавшей меня "старостой". Конечно, чехам, итальянцам, а также калмыкам-эмигрантам взгрустнулось, что майор не обещает им немедленного продолжения пути и что они не смогут ехать с четверкой русских в Мельк. Но делать было нечего, и нам, очевидно, приходилось расставаться.

Часть содержавшейся в лагере публики отправлена была на прибывших ночью машинах куда-то дальше. "Русская" картина: мужчины, женщины с узлами, мешками, дети при взрослых...

Часов около пяти вечера прибыла партия "власовцев". Всего 150 человек. Я подходил поглядеть на них с близкого расстояния: загорелые, запыленные пожилые и молодые люди. Много ребят лет по 16--17. Одеты все "власовцы" в голубые немецкие мундиры.

"Власовцев" построили в ряды. Появился майор Дубников. Прохаживаясь взад и вперед перед фронтом "власовцев", он обратился к ним с речью:

-- Согрешили -- сознайтесь! Не хитрите. Мы все знаем. Хитрость ни к чему не приведет. Нечего называться чужими фамилиями! Раз

ошиблись, честно признайте это. Иначе русский народ вам не простит. Свой проступок перед родиной вы должны искупить честным трудом. Поймите, что вы сделали! А между тем тут, в лагере, вас поместили так же, как и других, вольных граждан Советского Союза. Вы должны будете подчиняться тому же режиму, как они. Но конечно, без права расхаживать туда-сюда свободно. Старайтесь же все честно исправить свой проступок. Родина открывает вам возможность для этого. Поняли?

Единодушный отклик:

-- Поняли!..

На другой день увидел я на столе у коменданта брошюру Сталина "О Второй Отечественной войне". Хотелось прочесть, но комендант еще и сам не закончил чтения брошюры. Впрочем, обещал достать для меня второй экземпляр.

Зато Виктор Кузьмич подарил мне тут же листовку с замечательным обращением товарища И. В. Сталина к народу и с описанием выступления товарища И. В. Сталина на приеме в Кремле в честь командующих Красной Армией.

Нельзя было равнодушно читать две странички этого маленького, скромного, сохранившегося у меня и пожелтевшего от времени листка бумаги, который, очевидно, получил в свое время массовое распространение.

Замечателен тост, провозглашенный И. В. Сталиным в Кремле:

"...Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он -- руководящий народ, но и потому, что у него имеются ясный ум, стойкий характер и терпение".

И дальше товарищ Сталин говорил о том, что иногда, в моменты отчаянного положения в 1941--1942 годах, у нашего правительства было много ошибок. Другой народ возмутился бы и потребовал бы смены правительства, но русский народ терпел и не отказывал правительству в своем доверии. "И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила

историческую победу над врагом человечества -- над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!"

Этот тост восторженно был принят огромным количеством высшего и боевого офицерства, собравшегося в нескольких залах Большого Кремлевского дворца.

Тут невольно вспомнишь уничтожающую толстовскую критику государства и задумаешься над тем, всегда ли она уместна.

"Когда-то правительства являлись необходимым и меньшим злом, -- говорит Л. Н. Толстой в своей статье "Патриотизм и правительство", -- меньшим злом по сравнению с тем, какое происходило вследствие незащитности человека среди организованных соседей, но сегодня правительства стали ненужным и гораздо большим злом, по всему тому, что проделывают они со своими народами".

"Теперь уже нет особенных насильников, от которых государство могло бы защищать нас", -- добавляет Лев Николаевич в своем сочинении "Царство Божие внутри вас есть".

На этом основывал Толстой свое учение о государстве или, вернее, о безгосударственности. Люди стали хорошими, непрерывно совершенствуясь в течение двух тысяч лет с тех пор, как появилось христианство. Государство больше уже не нужно им.

Ах, как ошибался Лев Николаевич! Как он идеализировал современного человека! И как хорошо, что из могилы своей он уже не видел, какие бури пронесли над человечеством со дня его кончины -- 7 ноября 1910 года!

Зайдя к коменданту, застал у него компанию офицеров во главе с майором Дубниковым. Отступил было за косяк двери, но майор успел меня заметить и крикнул Боровикову:

-- Виктор Кузьмич, пригласите товарища Булгакова!

Нечего делать, пришлось войти и присесть. Компания опять пила мост. Налили и мне стакан.

Между военными шел разговор о войне.

Капитан, пожилой, стройный человек, рассказывал, как он сидел в немецком "каце" (концентрационном лагере) и рыл туннель в восемь километров. Вышел из концентрационного лагеря совершенно истощенный. Теперь поправился.

Сидеть в лагере было во всех отношениях тяжело.

-- Я считал, сколько раз меня били в лагере, -- говорил капитан, -- и насчитал: двести восемьдесят два раза!..

Заговорили о лагерях. Упомянули, между прочим, об одном лагере, где перед приходом советской армии расстреляли пять тысяч человек.

Прощаясь со мной, майор Дубников сказал, что через день-два он зайдет в нашу комнату.

Утром на другой день мы получили от майора подарок: три каравай хлеба и кусок сливочного масла. Это было существенное дополнение к нашему довольно скромному пайку. Все мы (говорю опять о "четверке") были глубоко тронуты.

В воскресенье под вечер майор Дубников сам появился в нашей комнате. Мы сердечно приветствовали гостя, усадили, благодарили за подарок.

Майор протянул нашим курильщикам бело-зеленую коробочку папирос "Труд". Взяли, выкурили, но, когда майор снова вытащил коробочку, стеснялись вторично протянуть руки за папиросами.

-- У Советского Союза табаку много! -- пошутил майор и настоял на том, чтобы товарищи взяли еще по папиросе.

Глава VIII

Во вторник один из офицеров, состоявших в управлении лагерем, оповестил нас, четырех, что получилось разрешение на поездку в Прагу.

Задержался он у нас часа на три.

Дело? Дальнейший путь? Нам надо подождать.

Майор рассказал много интересного о войне и о своем участии в ней.

Между прочим, Гилкин спросил:

-- Скажите, товарищ майор, почему советские аэропланы, в противоположность англо-американским, не бомбили немецких городов?

Майор ответил:

-- Потому что советское правительство не предполагало отступать от постановлений Гаагской конференции. Оно всегда верно раз заключенным договорам, больше, чем какое-нибудь другое государство!

Грабить, мародерствовать, творить жестокости русским бойцам за границей строго воспрещалось.

Майор помянул также о том, что советским офицерам ставится в пример дух чести офицеров старой, дореволюционной армии.

Майору приходилось воевать в Австрии, Румынии, Югославии и Болгарии.

Румынские фашисты -- неважные бойцы. Однако вели себя злостно. Иной раз они нападали на русских, когда война была уже окончена. Они награбили и вывезли много русского имущества. В одном румынском городе даже все трамвайные вагоны были из Одессы. Все это их заставили вернуть обратно, и если этого нельзя было сделать при помощи автотранспорта или по железной дороге, то принуждали румын пользоваться волами.

Лучше всего встречало население русские войска в Югославии. Стихийно, толпами кидались люди к советским солдатам, плакали, обнимали и целовали их. И делали это даже тогда, когда и им, и русским угрожала опасность от круживших над ними немецких боевых самолетов. Часто борьба за тот или иной город бывала еще не закончена, а население уже высыпало навстречу русским. Люди несли в ведрах водку, совали бойцам платки, полотенца. Спорили из-за того, в чьем доме удобнее расположиться штабу: каждый выхвалял свой дом и тянул к себе. И майор помнил, как однажды штаб разделился по трем квартирам.

-- А вот скажите, почему в связи с этой войной не возникло ни сыпного тифа, ни каких-либо других эпидемий ни в тылу, ни на фронте? -- задал вопрос майор и сам же на него ответил: -- потому что против опасности возникновения эпидемий приняты были строжайшие санитарные меры. Легче было сесть в вагон без билета, чем без удостоверения о прохождении медицинского осмотра и о дезинфекции! Еще в 1941 году на одной из узловых станций возникла вспышка сыпного тифа. Все медицинские и санитарные силы и средства, какие только можно было собрать, брошены были на эту станцию -- и эпидемия была задушена в корне.

Много и другого интересного и характерного рассказывал майор. С невольным почтением вспоминаю я невысокую, сутуловатую фигуру и некрасивое, смуглое лицо этого преданного, закаленного солдата.

Отправились в Главную комендатуру советских войск. Разыскать ее было нетрудно: роскошное многоэтажное здание на Ринге, с огромными живописными портретами Ленина и маршала Сталина в полной форме на главном фасаде.

Товарищи поручили мне хлопоты по нашему делу: надо было добыть разрешение на поездку из Вены в Прагу. Получаю пропуск и прохожу в небольшую, изящную и устланную ковром приемную. Жду.

Видел, как мимо прошел к себе в кабинет военный комендант города Вены генерал-лейтенант Благодатов, маленький, энергичный мужчина в мундире -- брюки с лампасами, ботинки со шпорами. Несколько офицеров шли за ним.

Меня принял начальник секретариата военного коменданта майор Белашев, внимательно во все вслушивающийся, тщательно проверяющий документы, долго обдумывающий и медленно решающий молодой еще человек. Не без труда, с помощью А. В. Стоилова, которого я призвал с улицы, удалось добиться, что майором выдано было каждому из нас на руки такое удостоверение:

"НКО СССР

Управление военного коменданта г. Вены

№ 26

Удостоверение

Выдано гр-ну (имярек) в том, что ему военный комендант г. Вены разрешает проезд в г. Прагу за своей семьей для возвращения на родину, в Советский Союз.

Всем военным и гражданским властям оказывать содействие в его проезде.

Начальник секретариата управления военного коменданта г. Вены
Белашев".

Печать с надписью вокруг звезды: "Военный комендант города Вены".

Хотя пишущая машинка в управлении военного коменданта подгуляла и в ней не работала буква "ы", которая заменялась соединением "мягкого знака" с большой римской цифрой "I", но все-таки полученная каждым из нас бумажка была, конечно, документом первостатейным. Имея ее на руках, мы могли без страха пускаться в дальнейшее путешествие.

Отправился регистрироваться в канцелярию лагеря. Мне сказали, что без этого отъезжающие не допускаются в вагоны.

Вхожу. Передо мной -- лейтенант Вилли Кузнецов. Маленький брюнет с энергичным, умным лицом.

-- Что угодно?

-- Товарищ, разрешите посоветоваться с вами, когда вы будете свободны!

-- А как вы думаете, -- спрашивает лейтенант, перебирая какие-то бланки, -- когда я буду свободен?

Отвечаю без запинки:

-- Думаю, что когда всех эвакуирующих перевезете на родину и отправитесь туда последним.

Но оказывается, что и этот срок недостаточен.

-- Нет -- когда сдохну! -- говорит лейтенант.

-- А-а! Значит, еще позднее, чем я предполагал!..

-- Что нужно? -- следует затем серьезный вопрос.

Говорю, что хотел бы зарегистрироваться.

-- Регистрация и необходима, и невозможна, -- отвечает офицер. -- Мало времени осталось для проведения всей этой процедуры. Прямо не знаю, что и делать!.. Вы откуда?

Рассказал, откуда, куда едем вчетвером и т. д.

-- Кто вы по профессии?

-- Директор Русского культурно-исторического музея в Праге, до того -- заведующий музеем Л. Н. Толстого в Москве, а еще раньше -- личный секретарь Толстого.

-- Кого?!

-- Толстого.

-- Какого Толстого? Алексея Николаевича?

-- Нет, самого Льва Николаевича.

-- Не может быть!..

Лейтенант Вилли Кузнецов оказался начинающим писателем, окончившим с отличием Литературный институт. Открытие, что он говорит с секретарем Толстого (позволившим себе в данном случае так назвать себя, чтобы выбраться вон из Брука), поразило его. Глаза его заблестели.

-- Невероятно! Какая встреча! -- восклицал Вилли, вскочивши со своего места.

Пришлось рассказать ему подробнее, когда и как я познакомился с великим писателем, сколько времени прожил в его доме, о его обаянии как человека и даже о встрече в Ясной Поляне с В. Г. Короленко, знакомством с дочерью которого Вилли гордился.

-- Это память на всю жизнь! -- повторял лейтенант-литератор.

Что касается регистрации, то она оказалась... совсем ненужной, тем более что я уже регистрировался в Штейре.

-- Это ведь только нам, для отчета, нужна регистрация, -- говорил лейтенант Кузнецов, -- потому что ведомости идут в Москву, а вам этого совсем не нужно! В вагон вас посадят и без регистрации...

По желанию Вилли Кузнецова я ему написал несколько слов на память, а он дал мне свой "полевой" адрес (которым, впрочем, я никогда не воспользовался). Толпа юношей и девушек, набравшихся в канцелярии, окружила нас, Вилли отложил все свои дела, и открытка с фотографией величественного старца и зеленого юнца, испорченная американцем, ходила по рукам.

Наконец в 12 часов дня мы погрузились в машину, ехавшую прямо и непосредственно в Братиславу. Вел машину немолодой старшина, а с ним ехала его жена, некрасивая, но симпатичная сибирячка, моя землячка-кузнечанка. И как счастливы были мы, четверо, забравшись под тент в пустующий кузов машины! Мы совершали наш последний переезд по разбитым Германии и Австрии...

Дорога была ровная, прекрасная, обсаженная деревьями. Кругом простирались чудные поля с дозревающими уже хлебами, с коврами красных маков, перемешанных с какими-то фиолетовыми цветами, с голубыми холмами на горизонте.

Вот блеснул Дунай. Вот -- скалы праславянского Девина, замок Матвея Корвина на высоком холме над городом. Она, Братислава!

Границу с Австрией перемахнули незаметно. Никакого контроля, никаких пограничных чиновников ни на австрийской, ни на чехословацкой стороне! Война все это уничтожила. Теперь спускаемся к временному понтонному мосту через Дунай. Рядом не стоит, а лежит в воде взорванный фашистами огромный старый железнодорожный мост.

Множество машин с советскими офицерами и солдатами движется в ту и другую сторону по мосту. Нас обгоняет морской офицер с матросом на мотоциклетке... По обочинам моста движутся пешие фигуры... И опять впечатление чего-то огромного, стихийного... Вспоминаются эпические описания Севастополя, Москвы в творениях Толстого, живописующих эпохи великих войн.

Мост в Братиславу -- мост в вольную, свободную жизнь.

Машина прикатила на двор фабрики "Аполло". (Не помню, что это была за фабрика.) Тут оказались квартира или общежитие, где проживало несколько офицеров. Туда вошли наши спутники, туда же

пригласили -- чрезвычайно любезно -- и нас. Совместно выпили по стакану пива и закусили хлебом с салом.

Попросив разрешения оставить в квартире на самое короткое время наши вещи, отправились мы на вокзал, расположенный на другом конце города.

Когда выросла перед нами на одном из первых перекрестков слишком знакомая нам фигура чехословацкого полицейского в черном мундире и в черной, низкой каске, мы невольно переглянулись со счастливыми улыбками. Это все-таки была не Германия, а близкая и почти родная Чехословакия!

Комендант вокзала, советский офицер, принял в нас самое трогательное, поистине товарищеское участие: устроил для нас возможность отдыха в комнате со словацкой надписью на дверях: "Служащие иностранных армий" (поскольку комната эта была совершенно пуста), обеспечил нам питание, все разъяснил насчет поезда в Прагу, а главное, отвоевал для нас у начальника станции ручную тележку, в которой мы могли бы доставить на вокзал наши вещи с места их временного хранения.

История с тележкой была любопытна. Надо сказать, что тележка-то отнюдь не принадлежала вокзалу и не числилась за его комендантом, а находилась среди вещей, сданных разными пассажирами в камеру хранения, следовательно, представляла частную собственность. Комендант, доверяя данному нами честному слову, что по миновании надобности мы тотчас вернем тележку, приказал выдать ее нам. Начальник станции, ссылаясь на все законы, земные и небесные, протестовал почти истерически. Окружающие его служащие тоже смотрели на нас с изумлением...

Комендант настоял на своем. Тележка, которой мы воспользовались, действительно через какие-нибудь полтора часа была возвращена на свое место. Расчет коменданта оказался правильным, а "формальная" точка зрения начальника станции потерпела поражение в столкновении с практической и рациональной точкой зрения офицера действующей армии.

Стоял неразрешенным перед нами вопрос о средствах на приобретение билетов до Праги. Австрийских шиллингов никто не принимал и не менял. На счастье, А. В. Стоилов случайно встретил на улице одного из своих бывших учеников, который одолжил ему 500 чехословацких крон и тем всех нас выручил.

На другой день, впервые по восстановлении железнодорожного движения, шел скорый поезд до Праги. Я посетил коменданта и просил его разрешить нашей маленькой группе отправиться с этим поездом. Разрешение было дано.

Ровно в 12 часов 45 минут дня выехали мы из Братиславы в наше последнее путешествие -- на Прагу. Оно же, пожалуй, было и самым волнительным нашим путешествием.

Проезжая по Словакии, Моравии и Чехии, мы видели, что здесь нет тех страшных следов борьбы, которые всюду сопровождали нас в Германии и в Австрии. И население чехословацкое выглядело более спокойным и самодеятельным, чем немецкое. Люди усердно работали, там и тут чинили редкие поврежденные бомбардировками здания. Железные дороги всюду оживали и функционировали.

Славянский мир окружал нас и в вагоне. Он был бесконечно милее, мягче и ближе немецкого.

"Сегодня или завтра, то есть после двенадцати часов ночи, -- думал я, -- увижу Аню, Оленьку и -- очень хочу надеяться -- также и бедняжку Танечку. Если это произойдет действительно после двенадцати ночи, то есть уже 22 июня 1945 года, то это будет значить, что в нашу военно-тюремно-лагерную историю вступит удивительнейшее совпадение: мы вернемся в Прагу точно в день четырехлетней годовщины со дня нашего первого ареста в первый день советско-германской войны".

...Приехали в Прагу ночью и остались на Главном вокзале до 3--4 часов утра.

Потом, поздравивши друг друга, простились и разошлись. По хорошо знакомым, почти родным улицам быстро дошел я до площади Ригера, в районе Врщовиц, поднялся по наклонной Сезимовой улице и в конце ее нашел наш дом. Вхожу в сени. Подымаюсь на четыре каменные ступени -- к двери нашей квартиры. С трепетом сердечным нажимаю кнопку электрического звонка.

Дверь открывается. На пороге -- дочь Таня. За ее спиной -- жена и вторая, выросшая за годы разлуки дочь.

Все целы. Все вместе.

Какое счастье!

От дочери Тани я узнал, что перед окончательным крушением восточного фронта немцы тоже пешком повели на юг все население концентрационного лагеря Равенсбрюк. По дороге Таня бежала и три дня скрывалась в лесу, где и встретила с передовыми отрядами

Красной Армии. После всевозможных приключений она вернулась, с одной подругой-чешкой и ее матерью, тоже пленницами Равенсбрюка, в Прагу -- за целый месяц до моего возвращения.

Оба мы затем приглашены были на работу в Министерство информации: Таня -- в качестве переводчицы, а я -- редактора еженедельного чешского бюллетеня о Советском Союзе, рассылавшегося всем выдающимся деятелям политики, общественной жизни и культуры.

Русский культурно-исторический музей в Збраславском замке я нашел разгромленным фашистами, которых пришлось выбивать из замка советским войскам. Все наиболее ценное из сохранившихся коллекций я переслал через советское посольство в Праге в Москву, где центральные музеи -- Третьяковская галерея, Театральный музей имени Бахрушина и Государственный Исторический музей СССР -- поделили между собою пражские коллекции. Менее ценное осталось в ведении Комитета советских граждан в Праге.

В августе 1948 года я с женой и младшей дочерью покинул Чехословакию и вернулся в СССР. Старшая дочь еще в Праге вышла замуж за советского офицера и вместе с мужем вернулась на родину за год до моего возвращения. Только с годами излечилась она от всех последствий своего пребывания в бесчеловечном гитлеровском концентрационном лагере.

Публикацию подготовила Н. Н. Артемова